



НО ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

В. А. БАЛЫЦ

СУД
НАД ПЕРВЫМ СОВЕТОМ
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ



ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН МОСКВ



1929



1006
10
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ОЧЕРКАХ, ВОСПОМИНАНИЯХ И БИОГРАФИЯХ

1929 г.

№ 18

В. А. БАЛЫЦ

СУД НАД ПЕРВЫМ СОВЕТОМ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОКУРОРА

Вступительная статья Д. Ф. СВЕРЧКОВА

2522
Св. см. Гл. СССР - 1973, т. II

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Москва — 1929

340.96: 5кп (09) "1904-1907" (003)

ТЗ(2)522.2-421

1073.48
4593

✓ 10-263.1111

Львів. бібліотека
АН. УРСР

Львівська державна
наукова бібліотека

№

1555

5кп I
Б-216

Главлит № А 56269

Заказ № 2030

Тираж 7000 экз.

Книжная ф-ка Центриздата Народов СССР. Москва, Шлюзовая набережн., 10.

ПО ПОВОДУ «ВОСПОМИНАНИЙ ПРОКУРОРА»

Когда представители царского режима теперь—после революции—пишут свои воспоминания, они прежде всего стараются несколько подрумянить задним числом свою собственную деятельность. Такая тактика особенно свойственна представителям карательных органов самодержавия, к которым принадлежит В. Бальц, бывший товарищ прокурора Петербургской судебной палаты, обвинявший нас осенью 1906 года по делу Петербургского Совета Рабочих Депутатов 1905 года и составлявший наш обвинительный акт.

В. Бальц не избег этой участи, хотя элементы самозащиты (если не самооправдания) перед восторжествовавшей революцией пропитывают его воспоминания в гораздо более слабой степени, чем это случается видеть у других бывших людей. Если бы автор просто и объективно изложил закулисную сторону суда над первым Советом, не прикрашивая былой правды и не вдаваясь в область своих «тяжелых переживаний», его записки имели бы большую ценность. Но он выбрал другой путь и этим уменьшил их интерес.

Нынешняя молодежь, не прошедшая школы подпольной революционной борьбы с самодержавием, не знает, в чем заключались обязанности прокурора, к выполнению которых Бальц относился, по собственному его признанию, как к «любимой службе». Прокуроры, — особенно судебных палат, судивших за политические преступления, — работали в самой тесной связи с охранным отделением и жандармскими управлениями. Участие прокурорского надзора в жандармских дознаниях по политическим делам должно было — конечно, только на бумаге — гарантировать полную законность и правомерность действий жандармов и охранников, и издевательства над политическими заключенными, — а зачастую и применение пыток, — совершались с ведома и при участии представителей прокуратуры. Последняя заставляла своей спиной все зверства охранников и утверждала, что все происходит «по закону» и обстоит благополучно. Прокурорскому надзору было вверено и наблюдение за тюрьмами. Прочтите воспоминания бывших шлиссельбуржцев, бывших каторжан и других узников царского режима, и вы увидите, как прокуроры выполняли свои обязанности в этой части, и какие печальные последствия для заключенных влекли за собой подаваемые ими прокуратуре жалобы на тюремную администрацию.

Теснейшая связь с охранниками существовала по должности и у Бальца, о чем он сам говорит в

своих воспоминаниях, правда, очень резко отзываясь теперь о жандармах и о методах их работы по производству дознаний по политическим делам. В виду всего этого очень трудно сопоставить нравственные мучения и тяжелые переживания, с которых говорит Бальц, с его признаниями в любви к работе в должности прокурора и с радостью, с которой он принял в марте 1906 года предложение занять место товарища прокурора Петербургской судебной палаты. Прокурором палаты в это время был близкий друг Бальца, Камышанский, хорошо знакомый всем петербуржцам, принимавшим участие в революционном движении в девятисотых годах, и отнюдь не страдавший нравственными мучениями от совместной работы с жандармами, умный и хитрый карьерист и охранник самодержавия. И так странно читать с первых же страниц «Воспоминаний» Бальца заявление о том, что автор надеялся на «чудодейственную силу манифеста 17 октября» (вырванного у Николая II всеобщей забастовкой в октябре 1905 года) «и на воцарение в России нового правового строя», и что надежды его—с наступлением реакции—«разлетелись, как дым», что его поразили неожиданностью аресты в Нижнем-Новгороде (где он занимал должность прокурора окружного суда до назначения в Петербург) в декабре 1905 года, что он даже спрашивал у губернатора, «что все это означает» и т. д. «С этих дней,—пишет дальше Бальц,—по всей России покати-
лась

волна совершенно безудержной реакции, и бороться дальше за мирное проведение в жизнь нового правового строя оказалось задачей совершенно донкихотовского стиля». А поэтому, как видно из «Воспоминаний», Бальц счел за лучшее перейти на должность товарища прокурора Петербургской судебной палаты, отказаться от неизвестно в чем выражавшейся его борьбы «за мирное проведение» и активно заняться делом удушения этого самого «нового правового строя», при чем принятие этой должности—по совершенно уже неопостижимым причинам—освободило автора «от всех моральных мучений».

Итак, в конце марта 1906 года Бальц переехал из Нижнего в Петербург на новую должность, и сразу же узнал, что на него возлагается составление обвинительного акта и выступление в суде в роли обвинителя по делу Совета Рабочих Депутатов. Теперь Бальц говорит об этом, как о «снеге на голову» и как о «неприятном поручении». Не верится. Выступление в таком процессе, огромнейшем в истории революционного движения, открывало широчайшую карьеру и не могло не льстить самолюбию. Кроме того, выступление в качестве обвинителя—это и есть главнейшая часть той прокурорской работы, которую Бальц, по собственному признанию, так любил. Правда, Бальц оказался много порядочнее других его товарищей по ремеслу, и эта порядочность заставила его исключительно корректно держаться на

суде над нами и не только помешала ему сделать на этом выступлении карьеру, но чуть не повлекла за собой увольнение его от службы. Но об этом после.

Бальц согласился принять это «неприятное поручение», при чем, по его словам, выговорил себе «условия», одним из которых было освобождение от участия в производстве жандармами дознания. Но и тут автор немедленно же противоречит сам себе, рассказывая, как он на следующий же день отправился «в первый раз в жизни» в жандармское управление, знакомился с дознанием и в результате попросил Камышанского дать ему в помощь кого-либо из товарищей прокурора окружного суда для того, чтобы разобраться в огромных и нелепых материалах жандармского дознания. В распоряжение Бальца был откомандирован товарищ прокурора Г. В. Меллер, который даже переселился в квартиру Бальца и с утра до вечера занимался вместе с ним подбором обвинительного материала против членов Совета.

В шестой главе своих «Воспоминаний» Бальц пишет: «Полицейско-жандармское дознание велось безобразно; при этом дознании был допущен целый ряд грубых нарушений... Разоблачение действительной обстановки (дознания) на суде произвело на меня впечатление разорвавшейся бомбы... Если бы я ненавидел это (судебное) ведомство, если бы я был ярым революционером и старался дискредитировать судебную и правитель-

ственную власть,—я бы поручил дознание по этому делу именно тем, которые его производили... Дознание по делу Совета было одним из худших известных мне примеров подобного рода расследований... Одним из наиболее действительных и наиболее печальных оснований для падения общего уровня судебных нравов была именно постановка расследований по делам о государственных преступлениях» и т. д.

Все это очень резко и беспощадно. Но почему Бальц молчит о том, что под всеми без исключения документами так возмущавшего его дознания красовалась во всю величину собственноручная подпись товарища прокурора Меллера? Это обстоятельство было достаточно ярко освещено на суде над Советом, и Меллер, сидевший позади Бальца, чувствовал себя не в лучшем положении, чем жандармский генерал Иванов, ощущения которого у свидетельского пюпитра Бальц называет едва ли очень приятными...

Совершенно анекдотичен разговор между автором и жандармским генералом Ивановым о судьбе подсудимых. Напомню, что вначале с нами имели намерение расправиться при помощи военного суда с применением, конечно, широко практиковавшейся меры наказания в виде столба с веревкой, но настроение рабочего класса заставило отказаться от этого проекта и передать дело в судебную палату. И вот, генерал Иванов спрашивает Бальца, будет ли нас судить военный суд, и,

получив отрицательный ответ, горячо убеждает, что «надо всех рассортировать. Кое-кого—в «места не столь отдаленные», некоторых—просто из столицы выслать, а остальных—отпустить на все четыре стороны». То-есть жандармский генерал будто бы предлагал применить к нам исключительно мягкий «образ воздействия»,—в противовес преданию нас суду по каторжным статьям. (Мы получили, как известно, ссылку на поселение с лишением всех прав состояния, а не каторгу, опять-таки только благодаря единодушному протесту против суда над нами десятков тысяч рабочих Петербурга). Может быть, Иванов просто издевался: если-де не хотите военного суда, то просто отпускайте на все четыре стороны,—а Бальц этого не понял.

Бальц вместе с Меллером составили обвинительный акт. Я редко видел что-либо более безграмотное. Однако, этот обвинительный акт был одобрен прокурором Камышанским и утвержден судебной палатой. Экземпляр его был представлен Николаю II. Из общей массы арестованных по делу Совета Бальц посадил на скамью подсудимых 52 человека. Из них—за исключением расстрелянного по делу о Кронштадтском восстании до нашего суда тов. Тер-Мкртчянца и скрывшихся—было приговорено всего 15 человек. «Я совершенно убежден,—пишет Бальц,—что если бы производилось предварительное следствие, а не дознание, то на скамье подсудимых и находились бы

только те 15 человек, которые были осуждены палатой». Это категорическое утверждение его опровергается в конце «Воспоминаний» им же самим. В своей обвинительной речи он требовал осуждения по 102 статье — 23 человек и по 1 пункту 129 статьи—3 человек, а всего—26 подсудимых. Как же примирить это обстоятельство с его теперешним утверждением, что при нормальном ходе следствия предать суду надо было только 15?

Бальц выполнял по мере разума возложенную на него правительством задачу, при чем никто из подсудимых не мог упрекнуть его в какой-либо хотя мельчайшей некорректности. В отдельных случаях Бальц даже удивлял нас резкостью выражений по адресу производивших дознание жандармов. Приведу пример. В конце ноября 1905 года департамент полиции занялся печатанием провокационных прокламаций, при чем эти прокламации, направленные против Совета, выпускались от имени «группы рабочих заводов и фабрик Петербурга». В одной из таких прокламаций нас обвиняли в растратах денег, собранных среди рабочих для Совета. Жандармы открыли по этому поводу целое следствие, стремясь установить факт растраты, но к желательным для них результатам не пришли. Бывший директор департамента полиции Лопухин заявил в присланном в судебную палату официальном письме, что выпуск этих прокламаций был делом рук самих же жандармов.

Бальц на суде сказал, что считает обвинение нас в растратах ложью и клеветой, и прибавил, что «разбираться в источниках этой клеветы я лично никакого желания не имею». Я уже сказал, что источник этой клеветы был выяснен в полной мере на суде до речи Бальца. И в данном случае Бальц надел белые перчатки вовсе не из брезгливости к источнику, а вследствие желания оставить в тени провокационную работу жандармов.

Белые перчатки—это знамя Бальца. Под этим знаменем протекала вся его деятельность в судебном ведомстве. Правда, он часто снимал их, протягивая руку жандармам, полицейским и другим своим соратникам в борьбе против революционного движения. Но «Воспоминания» свои он писал в белых перчатках. Такими перчатками для него является его убеждение во внеклассовой независимости суда, при котором дело решается весьма просто: существует уголовное уложение, есть лицо преступление, в тюрьме сидят подозреваемые. Задача суда—установить, что таким-то лицом совершено деяние, караемое уголовным уложением, и назначить предусмотренную тем же уложением меру наказания. Входить в рассмотрение политической обстановки, исторических условий преступления и тому подобное—нет никакой необходимости, ибо суд—выше политической борьбы, выше партийных программ и не является орудием власти, подчиненным правительству. При таких воззрениях очень легко выставить себя, как про-

стого исполнителя строгих требований закона, неответственного за свою совершенно объективную, независимую, надклассовую и внепартийную деятельность.

Эти романтические взгляды на аппарат судебной власти получили отражение в судебных уставах 1864 года и присущи еще до сих пор многим обывателям. На протяжении всех «Воспоминаний» Бальц подробно разъясняет разницу между «политической» и «судебной» сторонами дела Совета Рабочих Депутатов и старается доказать, что его стремление устранить из дела политическую его сторону является единственно правильным для прокурора. Во имя этого устранения он возражал против вызова свидетелями в суд председателя совета министров графа Витте и других министров, на чем настаивала по нашему поручению наша защита с целью выяснить отношения, существовавшие между Советом и царским правительством. Бальц тут же, в противоречии со своей основной точкой зрения, пишет: «Вызов представителей государственной власти был общественно важен, и подсудимые должны были этого желать... ибо их цель была допросом графа Витте и других дискредитировать их в общественном мнении. Эта задача была чрезвычайно легка». Таким образом, Бальц был против их вызова, защищая их от заведомо легкой дискредитации, то-есть руководился политической стороной дела. По этим же мотивам Бальц был против приобщения

к делу знаменитого письма бывшего директора департамента полиции Лопухина, в котором он раскрыл погромную работу органов правительственной власти в конце 1905 года, вызова Лопухина в качестве свидетеля и так далее. Бальц старается объяснить, что допрос этих лиц не мог иметь никакого отношения к установлению виновности каждого из подсудимых, забывая о том, что судили не отдельных лиц, а «преступное сообщество, присвоившее себе наименование С.-Петербургский Совет Рабочих Депутатов» — по собственной терминологии Бальца в нашем обвинительном акте. Деятельность этого «преступного сообщества», конечно, определялась политической обстановкой октября-декабря 1905 года, и стремление дать оценку этой деятельности с какой угодно точки зрения вне этой политической обстановки совершенно абсурдно. Ведь сам Бальц говорил о ней в конце своей обвинительной речи. Ведь он сам написал теперь в своих «Воспоминаниях», что «нельзя не признать, что свидетелем он (Витте) мог бы быть только по 722-й статье устава, то-есть он мог бы не отвечать на вопросы, так как они уличали бы его самого в совершении должностных преступлений»... Таким образом, Бальц уклонялся от «судебной» стороны дела во имя защиты представителей правительственной власти, которым грозили такие неприятные последствия в случае удовлетворения нашего требования о вызове их в качестве свиде-

телей на наш процесс. Мы вызывали их из политических соображений. Бальц протестовал против их вызова, и судебная палата отказала нам тоже из политических соображений, но противоположного с нашими характера. Где же надклассовость, независимость и беспристрастность суда, о которой твердит Бальц? Ее нет. Были две борющиеся стороны: революция и самодержавие; а суд являлся карательным органом этого самодержавия, выгораживая вопреки всем судебным уставам представителей правительства из угрожавшего им неприятного положения и компрометации. С нашей точки зрения поведение Бальца и судебной палаты было вполне правильным: они являлись представителями правящих классов и расправлялись с нами, охраняя интересы этих классов.

В моей памяти Бальц оставил впечатление достаточно умного чиновника. Не обладая он этим качеством, вряд ли ему поручили бы выступление обвинителем по такому крупному делу. И мне странно видеть с его стороны упорство в защите «внеклассовости» и «независимости» суда после того, как он сам пишет, что за отказ от обвинения нас по 101 статье и за заключительные слова своей речи: «В водовороте политической жизни, охватившем всю Россию, а в частности Петербург, после 17 октября минувшего года, Совет Рабочих Депутатов своей политической деятельностью вторгся в такое русло, вход в которое загражден законом, но сделал это он в такое время, когда в

силу событий сдвинулись со своих мест все составные части громадного механизма и не успели еще освоиться и укрепиться на тех устоях, которым суждено в будущем регулировать дальнейшее течение русской государственной жизни», — Бальц едва не был уволен от службы, и, во всяком случае, испортил свою карьеру. Бальца обвиняли чуть ли не в призыве к совершению государственных преступлений, усмотрев в этих его словах «потворство» подсудимым. Ему было поставлено в вину то, что он в своей речи признал наши объяснения на суде «правдивыми и искренними», и то, что назвал обвинения нас в расхищении денег ложью и клеветой. То-есть Бальц ощутил сам на себе готовую опуститься карающую длань правительства только за то, что он хотел быть беспристрастным. Какое лучшее доказательство можно привести именно для утверждения классовости и зависимости суда?

В противовес мечтателям-идеалистам, мы и утверждаем, что суд есть орудие класса, стоящего у власти, что преступления он должен рассматривать с классовой точки зрения, охраняя и защищая интересы пролетариата и трудового крестьянства, в руках которых находится власть в нашем Союзе Советских Социалистических Республик.

Дав интересную характеристику подсудимых, свидетелей и защиты, Бальц переходит к своей об-

винительной речи, записанной приглашенными нашей защитой стенографисткам. Эта речь, вызвавшая против Бальца такое неудовольствие правительства, построена по всем правилам прокурорских обычаев, но, устранив из нее политику, Бальц сам себя кастрировал. Каким красочным и интересным могло бы быть его выступление при правильном—классовом—подходе к оценке дела Совета с точки зрения самодержавного правительства!

Нашим «отчетом перед рабочим классом о деятельности Совета», данным на суде, прокурор воспользовался, как обвинительным, против нас, материалом, положив наши объяснения во главу угла своей речи. Мы ничего не имели и не имеем против такого профессионального подхода к нашим выступлениям перед судебной палатой, через голову которой мы говорили с нашими избирателями.

Проследите за речью Бальца. Какими безнадежно слабыми аргументами пришлось ему оперировать, чтобы объяснить основания привлечения к суду Совета—сообщества, не предусмотренного решительно никакими законами самодержавной юстиции и не укладывающегося в рамки ни одной из многочисленных статей уголовного уложения. Бальца трудно упрекнуть в этом. Ему пришлось творить, пришлось давать новые объяснения и придумывать основания для подведения Совета под совершенно негодное понятие «пре-

ступного сообщества», о котором говорил закон. Путем развязной увертливости он, как мог, старался выкарабкаться из безнадежного положения. Для судебной палаты он сделал это удовлетворительно. Но ради нее не стоило и стараться: она успокоилась бы и на отсутствии всякого объяснения юридической стороны дела. А для юристов аргументация Бальца не может быть признана сколько-нибудь удачной. Еще менее удачны объяснения Бальца, почему из нескольких сот арестованных он посадил на скамью подсудимых лишь 52 человека. Он объясняет это тем, что остальные «не были уличены в сознательном участии в наказуемой деятельности Совета, потому что они уличались только в том, что были членами Совета, а обвинение говорит, что только часть его деятельности была наказуема, и, следовательно, только те, которые изобличены в этой противогосударственной деятельности, могут так или иначе отвечать перед судом».

Сплошная эквилибристика. Нас Бальц обвинял по 102 статье уголовного уложения, карающей за принадлежность к сообществу, поставившему себе целью ниспровержение существующего государственного строя путем вооруженного восстания, при чем Совет Рабочих Депутатов квалифицировался Бальцем именно как такое «сообщество». Прокурор не имел никакого ни права, ни основания утверждать, что участие в этом сообществе ненаказуемо, а наказуемо лишь участие в

части его деятельности, ибо это утверждение категорически противоречит смыслу именно той статьи, под которую Бальц подвел наше преступление. Суд мог сделать разницу между нами лишь в применении меры наказания: от ссылки на поселение до 8 лет каторжных работ, ибо минимальным наказанием—ссылкой на поселение—закон карал простую принадлежность к сообществу, даже без каких-либо активных действий обвиняемого внутри этого сообщества. Бальц это великолепно знает, ибо если, может быть, не он сам, то его коллеги по ремеслу отправляли товарищей на каторгу за простую принадлежность к партии, за которую наказывали именно по этой самой 102 статье. Однако, ни тогда, ни даже теперь Бальц не захотел откровенно признаться в своем жонглерстве, имевшем причиной, конечно, политические мотивы.

Перехожу к списку 52-х, отданных под суд. Этот список был составлен так: взяли членов Исполнительного Комитета и добавили к ним несколько инородцев, не принимавших абсолютно никакого участия в Совете, а являвшихся или корреспондентами газет, или случайно попавшими в качестве публики на арестованное 3 декабря 1905 года собрание Совета. Материалы дознаний не давали решительно никаких данных против очень многих посаженных на скамью подсудимых. Но решающим обстоятельством для этого явилось, повидимому, их инородческое происхождение, ибо само-

державное правительство старалось всеми силами изобразить революционное движение, как результат работы инородцев, а состав Исполнительного Комитета не давал для этой цели достаточного материала. Повинуясь этим политическим мотивам, Бальц внес в обвинительный акт посторонним Совету: Бруссера, Грейвера, Копелиовича, Ядловкера, Тер-Мкртчянца. Таково было на практике отрицание прокурором Бальцем политического подхода к нашему делу. И опять непонятно, почему Бальц говорит, что если бы следствие по нашему делу велось органами судебной власти, а не жандармами, то к суду были бы привлечены только 15 человек, осужденных судебной палатой, а сам Бальц посадил на скамью подсудимых 52.

В своей обвинительной речи Бальц отказался от некоторых незначительных деталей, приписываемых тому или другому из обвиняемых и не имевших абсолютно никакого значения при назначении меры наказания судом. Главнейшим местом его речи на пользу подсудимых был отказ от обвинения нас по 101 статье, более грозной, чем 102-я.

В результате сложившейся политической обстановки (120.000 подписей рабочих под резолюциями, требовавшими от судебной палаты привлечения к суду наравне с нами всех подписавшихся) только 15 из подсудимых получили ссылку на поселение, то-есть минимальное наказание по 102 статье, и двое были приговорены к заключе-

нию в крепости: один на полтора года, а другой — на восемь месяцев с зачетом предварительного заключения. Бальц ставит себе в заслугу, что согласился на приобщение к судебным материалам и оглашение этих резолюций, несмотря на упреки со стороны представителей магистратуры и прокуратуры, при чем признает это свое согласие формальным нарушением. Как жаль, что Бальц теперь не остановился на этих резолюциях и не объяснил, по какому праву прокурорский надзор не привлек к ответственности подписавших резолюции рабочих, в то время как эти рабочие, указывавшие точно не только свои имена, отчества и фамилии, но и адреса, заявляли в официальном документе, что они признают себя виновными в совершении тяжчайших государственных преступлений, предусмотренных 101 и 102 статьями уголовного уложения, и требуют посадить их на скамью подсудимых наравне с нами. Прокурор обязан был их привлечь с судебной точки зрения, на которой все время стоял Бальц, но он не сделал этого из политических соображений: нельзя же судить 120.000 человек.

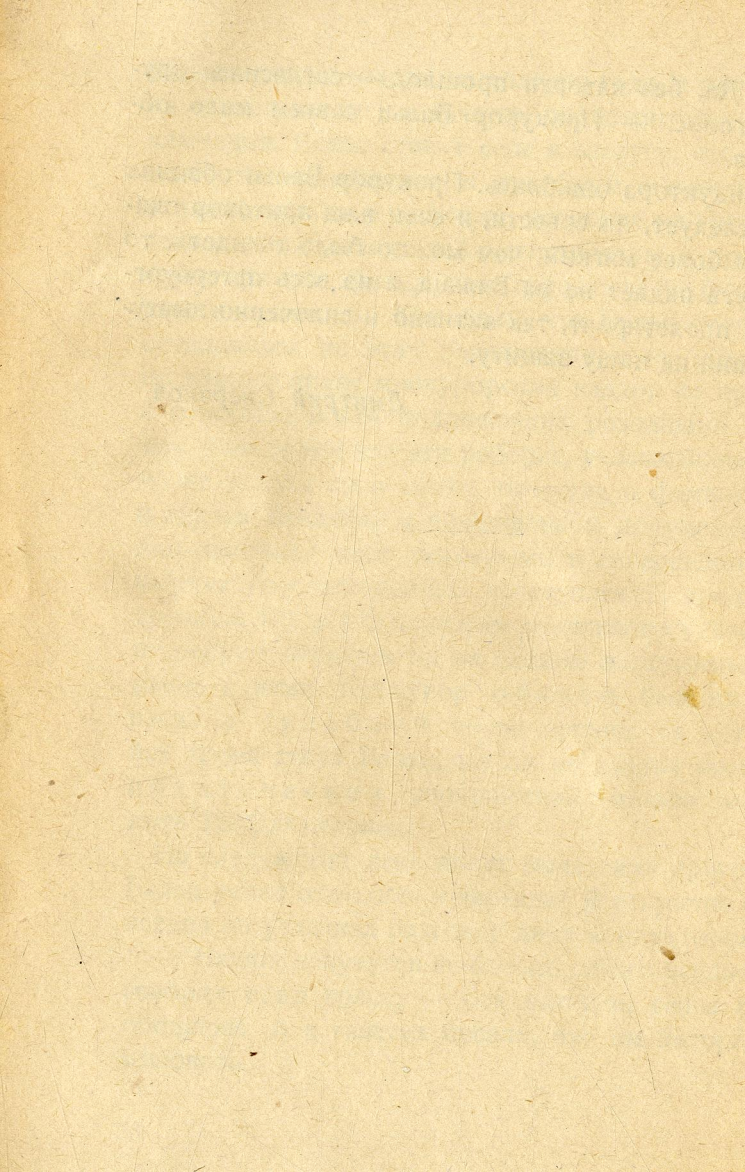
На следующий день после вынесения приговора Бальц уехал отдыхать в деревню. В открытое окно вагона он услышал разговор двух кондукторов:

— Наших депутатов не больно строго осудили, — говорил один голос, — без каторги, слава богу, обошлось. А в газетах писали, что им каторги не миновать.

— Да, без каторги прошло, — согласился другой голос. — Прокурор Бальц совсем мало обвинял.

Кондуктора ошиблись. Прокурор Бальц обвинял как следует, по совести, и если наш приговор оказался более мягким, чем можно было ожидать, то заслуга падает не на Бальца, а на весь петербургский пролетариат, так активно и сплоченно выступивший на нашу защиту.

Дмитрий Сверчков.



1. Перед процессом.

В марте 1906 года я занимал должность прокурора нижегородского окружного суда.

Душевное состояние мое было до последней степени подавленным.

Надежды на чудодейственную силу манифеста 17 октября и на воцарение в России нового правового строя разлетелись, как дым.

Со дня опубликования манифеста и до первых чисел декабря в Нижнем-Новгороде не было пролито ни капли крови.

Уравновешенные люди, сдерживая одних, убеждая других, стремились безболезненно перейти к новым условиям русской общественной жизни.

Все это рушилось.

3 декабря в Петербурге был арестован Совет Рабочих Депутатов, и с этого же времени государственная власть вступила на твердый и определенный путь реакции.

В ночь на 3 декабря в Нижнем-Новгороде, совершенно неожиданно для меня, были арестованы очень многие политические и общественные деятели. Все аресты были произведены охранным от-

делением под руководством его начальника, пресловутого ротмистра Трещенкова, прославившегося впоследствии знаменитым расстрелом рабочих на Ленских приисках.

Губернатор, барон К. П. Фредерикс, не мог не знать о предстоящих арестах, и когда я его спросил, что все это означает, то он в виде особой откровенности показал мне телеграмму нового министра внутренних дел Дурново, из которой видно было, что всем губернаторам предлагается немедленно арестовать лиц, политически неблагонадежных, при чем телеграмма подчеркивала, что все аресты должны быть произведены «в порядке охраны» без предварительного соглашения с прокурорским надзором.

С этих дней по всей России покатилась волна совершенно безудержной реакции, и бороться дальше за мирное проведение в жизнь нового правового строя оказалось задачей совершенно донкихотовского стиля.

К марту реакция уже шла полным ходом. Попытки социалистических партий толкнуть события дальше обещаний манифеста 17 октября были разбиты, и очевидным результатом этих попыток явилось крайнее обострение правительственной борьбы за подавление всякой свободной мысли, которое характеризовало затем управление «либерального» кабинета графа С. Ю. Витте вплоть до созыва первой Государственной Думы.

Такова была обстановка, в которой я жил и работал в Нижнем первые месяцы 1906 года, пока не разыгрался мелкий, но характерный эпизод, заставивший меня задуматься над необходимостью покинуть так мною любимую службу в прокурорском надзоре.

Эпизод этот сводился к следующему.

Как-то в первых числах марта ко мне в служебный кабинет, в здании окружного суда, явился пресловутый ротмистр Трещенков, ненавидевший меня всеми силами своей души, и заявил мне, что он счел своим долгом сделать мне сообщение, касающееся моей личной безопасности.

В ответ на мой изумленный вопрос, откуда же мне может грозить какая-нибудь опасность, ротмистр мне сообщил, что охранным отделением будто бы получены сведения, что именно в этот день на меня готовится какое-то покушение около входа в мою квартиру, и что поэтому он рекомендует мне известную осторожность.

Я выслушал это сообщение, и для меня совершенно несомненно было одно: ротмистр Трещенков врет.

Он не то что возглавлял, а скорее создавал активность известных групп населения, которые потом объединились в «союзе русского народа», и его сведения могли исходить только от этих групп. Эти люди могли мне желать зла, хотя бы за сочувствие манифесту 17 октября и за то, что я после черносотенного погрома в Нижнем 9 и 10 июля

1905 года (полугодовщина 9 января) арестовал организаторов этого погрома — содержателя ломового извоза Ключева и содержателя трактира Никиту Журавлева, по вине которых погибло много ни в чем не повинных людей. Но ротмистр Трещенков уверял меня, что насилие против меня подготавливается, так сказать, слева, а для этого не было, как мне казалось, решительно никаких оснований.

Поблагодарив Трещенкова за предупреждение, я сказал ему, что раз начальнику охранного отделения заранее известно о намерении совершить покушение на прокурора суда, то это покушение, очевидно, уже не может состояться, и на этом мы распростились.

Немедленно после его ухода я позвонил губернатору и, рассказав ему о моем разговоре, добавил:

— Имейте в виду, Константин Платонович, что если со мной что-нибудь произойдет, то вина в этом будет лежать на Трещенкове.

Затем я позвонил к приставу 2-ой Кремлевской части, в районе которой я жил, и приказал приставу немедленно отправить к моей квартире чинов полиции и установить, есть ли там что-нибудь подозрительное около входа, в смысле возможности каких-либо насилий против меня. К этому я добавил, что я поручаю приставу арестовать подозрительных лиц, которые могут оказаться у входа в мою квартиру, и о результатах мне доложить по телефону.

Приблизительно через час пристав позвонил в мой служебный кабинет и весьма смущенным тоном поведал мне о следующем.

Посланные им люди заметили, что у входа в мою квартиру все совершенно спокойно, но около подъезда бродят два человека и, несомненно, следят как за квартирой, так и за лицами, идущими по Малой Печорке, то-есть по улице, где я должен был пройти, возвращаясь из суда в свою квартиру. Оба подозрительных субъекта были задержаны и доставлены в участок; пристав их лично опросил и смущенно доложил мне, что задержанные по моему распоряжению лица оказались... агентами охранного отделения.

Откровенно говоря, я ожидал чего-нибудь подобного, хотя наглость происшедшего и превосходила все, что я мог ожидать от такого милостивого государя, как ротмистр Трещенков.

Я приказал приставу немедленно освободить задержанных лиц и объявить им, что арестованы они были по моему распоряжению и освобождаются также по моему же распоряжению.

Затем я лично проехал к барону Фредериксу, рассказал ему весь эпизод и категорически заявил, что прошу его содействия к немедленному удалению Трещенкова из Нижнего-Новгорода.

Вернувшись домой, я в тот же день написал конфиденциальное письмо прокурору Московской судебной палаты В. Ф. Клугену и просил его настоять на удалении Трещенкова или переводе меня

немедленно из Нижнего, предупреждая, что я Трещенкову больше руки не подам.

Скандал получился настолько очевидный, что подлежащие власти признали необходимым убрать Трещенкова из Нижнего, и он получил новое назначение, кажется, именно в Сибирь, где и прославился своим расстрелом рабочих на Лене. Зная его, я готов допустить, что в этом расстреле была и провокация и вообще какая угодно мерзость.

Уход Трещенкова, конечно, не мог сам по себе дать мне нужное спокойствие для дальнейшей работы, так как это был просто мерзкий эпизод, а причины моего разочарования и мучительной тоски лежали гораздо глубже. Я решил, что при создавшихся условиях должность прокурора суда станет невыносимой, и, несмотря на всю мою любовь к этой именно форме служения правосудию, написал частное письмо старшему председателю Московской судебной палаты Ф. Ф. Арнольду, которого уважало положительно все ведомство. В этом письме я просил Арнольда предоставить мне первую же должность товарища председателя окружного суда в пределах Московской палаты, кроме Архангельска и Вологды, при чем я откровенно объяснил Арнольду причины, побуждающие меня пойти на такое понижение по службе.

Арнольд ответил мне чрезвычайно ласковым письмом, в котором уговаривал меня отказаться от моей мысли и писал, что именно теперь я не

имею нравственного права уходить с должности прокурора суда.

Таково было мое настроение, когда в один прекрасный вечер я получил телеграмму от только-что назначенного прокурора Петербургской судебной палаты П. К. Камышанского, следующего содержания: «Телеграфируй, согласен ли принять должность товарища прокурора Петербургской палаты. Единственное условие — немедленный после приказа приезд».

Я не колебался ни минуты. С Камышанским меня связывали старые отношения по витебскому надзору, где он был прокурором, а я товарищем.

Я ответил согласием на сделанное мне предложение, выводившее меня из всех моих моральных мучений, и накануне благовещенья уже покинул Нижний, чтобы начать новые для меня обязанности в новых условиях, но в старой и хорошо мне знакомой обстановке петербургского прокурорского надзора.

2. Составление обвинительного акта.

В первый же день по приезде в Петербург я представился своему новому начальнику П. К. Камышанскому, который принял меня чрезвычайно сердечно, но после первых же слов приветствия огорошил меня следующим заявлением:

— Ты знаешь, что, приняв должность товарища прокурора палаты, ты тем самым выдал на себя вексель.

— Какой вексель? — изумленно спросил я.

— Ты должен принять на себя составление обвинительного акта и обвинять на суде по делу Совета Рабочих Депутатов.

Это сообщение Камышанского было для меня, что называется, «как снег на голову». Я, конечно, понимал, что, принимая должность товарища прокурора палаты, я буду обязан выступать обвинителем и по политическим делам, но я никак не мог ожидать, что с первого же дня на меня свалится такое сложное, сенсационное и неприятное поручение.

Однако формальных оснований для отказа от поручения у меня не было, и я только и мог подчиниться этому распоряжению, но выговорил себе три условия:

1. Если, ознакомившись с делом, я найду, что в нем нет формального состава преступления (признаков уголовно-наказуемого деяния), то я оставляю за собой право заявить об этом, и тогда составление акта и обвинение поручается кому-нибудь другому.

2. Если я найду, что некоторые из обвиняемых не уличены в участии в преступлении, то я пишу о них заключение о прекращении преследования и не поддерживаю против них обвинения на суде, если бы палата, не согласившись с моим заключением, и предала их суду.

3. Если уже во время суда я приду к убеждению, что кто-либо из лиц, о которых мною написан об-

винительный акт, опроверг предъявленное ему обвинение, то я равным образом откажусь от обвинения.

К этому я добавил, что принимаю на себя только судебные функции по делу, то-есть составление акта и обвинение на суде, но никакого участия в производстве дознания, которое еще заканчивалось, я принимать не буду.

Камышанский на все эти условия согласился, сказав, что все это — право прокурора, предоставленное ему законом, на что я ему ответил, что говорю об этом во избежание каких-нибудь личных с ним недоразумений.

На следующий день после этого разговора я в первый раз в жизни вошел в помещение петербургского жандармского управления на Тверской улице. Там уже знали о возложенном на меня поручении, и меня встретил помощник начальника управления, знаменитый генерал Иванов, маленький, толстый человечек, с постоянной ласковой и фальшивой улыбочкой на устах, говоривший вкрадчиво любезные речи и известный всем, кто имел с ним дело, как совершенно беспринципный и скверный, хотя и очень умный человек.

Иванов провел меня в свой кабинет, во время разговора титуловал меня «ваше превосходительство», хотя я этого титула не имел ни по чину, ни по должности, и все время держал себя как будто бы и очень почтительно, но сквозь эту почтительность проглядывало самое настоящее пренебре-

жение и ироническое отношение не только ко мне лично, но и к судебной власти вообще.

— Вы что же предполагаете делать с дознанием, ваше прев.? — начал свой разговор генерал Иванов.

— Как что? Предполагаю написать обвинительный акт, если преступление доказано, а в противном случае составить заключение о прекращении преследования.

— Значит, в случае, если вы изволите составить обвинительный акт, этих милостивых государей судить будут?

— Конечно.

— И кто же их судить будет? Военный суд?

— Ваше превосходительство, — заявил я, начиная раздражаться этим глумлением, — вы отлично понимаете, что я представитель гражданского судебного ведомства, и, значит, если обвинительный акт составляю я, то судить их будет не военный суд, а палата с сословными представителями.

— Не мое, конечно, дело рассуждать, — заметил генерал Иванов, — но я бы никогда не посоветовал судить их. Да еще, пожалуй, при открытых дверях! Из этого, кроме скандала, ничего не выйдет, и вы этого дела до конца не доведете. Не знаете вы, в. пр., этой публики: им ведь все трюнда, и они суду только обрадуются. Помилуйте, ведь это для них лишний митинг и больше ничего.

— А что же, по вашему мнению, следует сделать с обвиняемыми? — спросил я.

— Как что? — словно в крайнем изумлении воскликнул Иванов, — надо хорошенько разобраться в списках. Разобравшись, надо составить доклад в особое совещание при министре внутренних дел и всех их рассортировать. Кой-кого «в места не столь отдаленные», некоторых просто из столицы выслать, а остальных отпустить на все четыре стороны. Поверьте мне, тихо это все пройдет и без затей, а так, как вы хотите, — получите скандал и шум на весь свет и больше ничего, а им только удовольствие доставите.

Я ответил генералу, что вопрос о судебном на-
правлении дела решен, и попросил его рассказать мне, кто собственно производит дознание, в каком оно положении, и как удобнее всего ознакомиться с материалом дознания.

— Видите ли, в. пр., — заявил мне на это Иванов, — дознание произвожу я, но мне помогают мои помощники, полковники Горленко и Николаев, а, в сущности, все управление это дознание производит. Ведь арестованных больше двухсот, да и в дознании томов тоже больше двухсот, где же одному человеку с такой машиной справиться. Дай бог всем-то вместе разобраться. Да не-
удовно ли, я вам сейчас покажу, как дознание про-
изводится.

И, не давая мне времени для возражений, генерал Иванов вскочил с места, широко открыл дверь

в соседнюю комнату и жестом пригласил меня войти, со словами: «милости просим».

Ничего не оставалось, как подчиниться, и я прошел в очень большую залу, где увидал нечто совершенно необыкновенное. Вдоль стен стояло больше десятка столов. За каждым столом сидел жандармский офицер, и около некоторых из них находились лица прокурорского надзора. За одними столами допрашивали свидетелей, за другими, повидимому, опрашивали обвиняемых, за третьими производился осмотр вещественных доказательств... И все это делалось одновременно, без всякой связи одно с другим, при общем шуме и говоре присутствующих. Я познакомился со всеми находившимися в зале должностными лицами и торопливо вернулся в кабинет генерала Иванова, обратившись к нему с просьбой показать мне самое дознание.

Генерал открыл большой шкаф, в котором стояло несколько сот отдельных томиков дела. Большинство томов были совсем тонкие, в несколько листов. Я вынул наудачу один из томов и увидел надпись: «Дело о дворянине Верховском».

В деле было только постановление о привлечении Верховского, как задержанного 3 декабря 1905 года на заседании Совета Рабочих Депутатов, к дознанию в качестве обвиняемого, постановление о содержании его под стражей и протокол допроса, в котором значилось, что Верхов-

ский виновным себя не признает и от показаний, а также от подписания протокола отказывается.

— Позвольте, — спросил я генерала Иванова, — а где же доказательство того, что Верховский был членом Совета?

— А это в деле Хрусталева, — ответил мне Иванов и вытащил из шкафа толстый том № 1, названный «дело Хрусталева».

Оказывается, что жандармы избрали такую систему: все, что относилось к деятельности Совета вообще, они сосредоточили в одном томе, назвав его почему-то томом «Хрусталева», а в остальных томах помещали только то, что относилось к данному обвиняемому.

Я сразу понял, какая колоссальная предстоит работа, чтобы разобраться и просто классифицировать весь материал, и решил, что здесь, в помещении управления, это сделать невозможно.

В тот же день я сказал Камышанскому, что буду заниматься дома, и, получив его согласие, попросил по телефону генерала Иванова прислать мне «дело Хрусталева». К моему удивлению, Иванов запротестовал. Уверял, что дело это, да и вообще все тома им нужны каждую минуту, и что работать я могу только в жандармском управлении. Пришлось прибегнуть к вмешательству Камышанского, и только после этого я стал получать по утрам через унтер-офицеров нужные мне материалы, которые сдавались под расписку и под расписку же возвращались обратно.

Началась каторжная работа. Материал был громаден, разбросан; в нем была масса таких данных, которые ничего касающегося преступных деяний в себе не заключали, и, кроме того, материалы о том или другом лице были так причудливо размещены по разным томам, что приходилось делать длиннейшие выписки, чтобы распределить всю эту литературу.

Я понял, что мне в месячный срок, который был мне дан, никогда с такой задачей не справиться, и попросил Камышанского дать мне в помощь кого-нибудь из товарищей прокурора окружного суда. Просьба моя была удовлетворена. В мое распоряжение был командирован товарищ прокурора Г. В. Меллер, и с этого дня мы начали работать вдвоем. Меллер даже переселился в мою квартиру. Мы начинали ранним утром и с маленькими перерывами работали до позднего вечера. Так продолжалось изо дня в день в продолжение целого месяца.

Ко времени, когда обвинительный акт вышел из типографии, Камышанского в Петербурге не было, он был в какой-то командировке; отсутствовал и новый министр юстиции И. Г. Щегловитов.

Акт был предложен палате вместе с подлинным делом, и палата «дала ему ход».

Палата во всем согласилась с моими выводами. Мною было составлено заключение о прекращении дела о двухстах слишком обвиняемых, а предать суду было предположено, кажется, 52 лица. Часть

из них скрылась до суда, и на скамье подсудимых было около 30 человек, если мне не изменяет память. Во всяком случае, в результате судебного процесса 15 человек было осуждено по 102 статье и сослано на поселение, двое были приговорены в крепость, кажется, на год, и 12 человек было оправдано.

Я совершенно убежден, что если бы производилось предварительное следствие, а не дознание, то на скамье подсудимых и находились бы только те 15 человек, которые были осуждены палатой.

Передача мною в палату дела сопровождалась одним комическим эпизодом, характеризующим бюрократические петербургские нравы. Уезжая в командировку, Камышанский поручил мне, направляя дело в палату, один экземпляр обвинительного акта представить при рапорте министру юстиции, а один лично отвезти дворцовому коменданту В. А. Дедюлину для представления государю. Камышанский сказал мне, что это высочайшее повеление.

Я так и сделал. Позвонил Дедюлину по телефону, выехал по его приглашению в Петергоф, передал ему акт и вернулся домой.

Через несколько дней меня экстренно вызвал заменявший временно Щегловитова милейший и добрейший товарищ министра юстиции М. Ф. Люце.

Он принял меня чрезвычайно сухо и холодно и встретил вопросом:

— Скажите, пожалуйста, по какому праву вы признали возможным передать составленный вами обвинительный акт дворцовому коменданту?

Я смутился, но ответил, что акт передан мною для представления государю. Я понял, что это было в отношении министра некорректно, но не считал себя в праве называть Камышанского и выслушал от Люце форменный выговор.

— Вы поставили меня перед его величеством в невозможное положение. Я поехал в Петергоф с очередным докладом и хотел передать государю обвинительный акт. Смотрю, а акт уже лежит на столе у его величества. Государь выслушал меня и сказал: «Благодарю вас, я уже имею этот акт от генерала Дедюлина». Понимаете ли вы, как вы меня подвели? Я это доложу Ивану Григорьевичу (Щегловитову), когда он вернется, и вам будет указана неуместность ваших действий. Можете идти.

Я ушел от Люце, искренно сожалея, что причинил хорошему человеку несколько неприятных минут. Мысленно обругал Камышанского, но скоро забыл о всей этой истории и только впоследствии узнал, что Люце, говоря обо мне, не выражается иначе, как называя меня «крайне невыдержанный молодой человек».

3. Первое слушание дела.

Дело Совета Рабочих Депутатов было в первый раз назначено к слушанию 20 июня 1906 года.

Отчетливо помню, как в это утро я вышел из своей квартиры на Фурштадтской и пошел пешком к зданию окружного суда.

Уже около Сергиевского собора, на Литейном, заметно было начинавшееся скопление народа. Поперек улицы стояла цепь чинов полиции. Виднелись не только черные шинели городских, но и довольно много серых шинелей начальствующих чинов полиции. Последняя не препятствовала движению по улице и, повидимому, получила задание лишь помешать скоплению публики группами. Я прошел мимо цепи и, подходя к зданию суда, увидел, что вторая такая же полицейская цепь протянулась поперек Литейного и на углу Шпалерной, так что здание суда в сущности было кругом оцеплено. Тут, на Шпалерной, тоже стояли небольшие группы народа, преимущественно рабочих и просто любопытных прохожих.

Испытывая довольно сильное волнение, я решил не идти в совещательную комнату 1-го отделения суда мимо публики, собравшейся в кулуарах, а пошел хорошо мне знакомыми нижними коридорами, войдя в маленький подъезд со Шпалерной. Как только я вошел в коридор, мне бросилась в глаза следующая картина. В самом коридоре и во всех комнатах, обычно занимаемых сторожами, стояли, сидели и даже лежали на столах и лавках солдаты л.-гв. Павловского полка. В одной из комнат пили чай несколько офицеров. Проходя мимо фельдфебеля, я спросил его:

— Вас сколько здесь?

— Рота,—отвечал он.

— А давно вы здесь?

— С ночи привели.

Я не стал дальше расспрашивать и поднялся по внутренней лестнице в совещательную комнату.

Состав палаты был уже налицо. Были и судьи, и сословные представители, и несколько министерских чиновников, присланных послушать процесс, которых Камышанский не без остроумия называл «наведенными людьми».

Шел общий разговор, и все казались спокойными, кроме старшего председателя палаты И. К. Максимовича, который видимо нервничал и заставлял себя сосредоточиться на докладе секретаря о явившихся и неявившихся свидетелях.

Ко мне немедленно же подошел судебный пристав и сказал, что несколько лиц ждут меня в коридоре и желают переговорить по делу. Оказалось, что все это исключительно лица, желающие попасть в зал суда и не имеющие билетов. Все они уверяли, что им по должности необходимо прослушать процесс, и ссылались на самые разнообразные мотивы. Особенно наседал на меня адъютант морского министра капитан Зилоти. Я знал, что билеты розданы и в зале и на хорах, что называется, «до отказа», и потому нашел в себе характер отклонить все эти требования и вновь вернулся в совещательную комнату. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, и я через маленькую

дверь вышел в залу заседания, где я был скрыт от взоров высокими спинками кресел присяжных заседателей. Зала шумела, как растревоженный улей. Сзади было черно от публики. В местах для представителей прессы люди сидели плечо к плечу. Против меня на скамье подсудимых длинной лентой сидели обвиняемые. Все они весело между собой разговаривали; почти у всех в петлицах были вдеты красные цветы.

Между подсудимыми и мною стояла большая группа защитников и о чем-то оживленно беседовала. Один из защитников, присяжный поверенный Маргулиес, заметил меня и направился в мою сторону, но я отмахнулся от него рукой и торопливо вернулся в совещательную комнату.

Там я прослушал сообщение секретаря о неявившихся свидетелях. Их было много, но я решил, что дело слушать можно, так как не видел гарантии, что в следующий раз свидетелей явится больше, а между тем значительное число обвиняемых содержалось под стражей уже с декабря месяца.

Я стал делать некоторые заметки карандашом, но вдруг Максимович взволнованно подозвал меня к окну.

— Посмотрите, посмотрите, что там делается,— говорил он.

Под окнами суда на Шпалерной довольно большая толпа народа пыталась, очевидно, проник-

нуть в здание суда, а полицейский пристав, что называется, «честью просил разойтись».

В этот же момент раздались совершенно непривычные для старых стен окружного суда звуки пения.

В здании дома предварительного заключения, который выходил на тот же двор, арестованные пели марсельезу:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

В ответ на это пение раздалось то же пение марсельезы из комнат, в которых ожидали допроса свидетели по делу.

В совещательную комнату вбежал уже измученный и усталый знаменитый церемониймейстер всех больших процессов — судебный пристав Н. Н. Ермолаев.

Он, волнуясь, докладывал Максимовичу, что никак не может успокоить свидетелей, что он разбил их на группы и развел по разным комнатам, но они не слушают его уговоров и поют.

— Мне с ними не справиться,—говорил Ермолаев,—их несколько сот, а я один, ваше превосходительство.

— Доложите прокурору палаты,—раздраженно ответил Максимович,—это его дело наблюдать за порядком в здании суда...—А затем, обратившись ко мне, Максимович, стараясь, видимо, меня подготовить, стал говорить, что при таких условиях суд невозможен, что это не суд, а демонстрация, и что вести процесс в таких условиях невыносимо.

Вскоре пенье стихло. Успокоил ли певших Камышанский, или защита приняла в этом участие, не знаю, но, во всяком случае, водворилась тишина.

— Все готово, ваше превосходительство,—доложил, вновь появляясь в совещательной комнате, пристав Ермолаев.

Максимович нервно прошелся по комнате, потом махнул как бы в отчаянии рукой и, подойдя к двери в зал заседаний, решительно нажал кнопку звонка.

Судебный пристав Ермолаев, несколько театральным жестом, открыл дверь и впереди всех вошел в залу, торжественно объявляя своим мощным голосом:

— Прошу встать: суд идет!

Зашумела вся масса публики, защитников и подсудимых, вставая со своих мест, и в то же время откуда-то вновь донеслись вызывающие звуки революционной песни...

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Еще минута—и в зале все стихло.

— Объявляю заседание открытым,—произнес, явно волнуясь, Максимович.

— Подсудимый Носарь-Хрусталеv, вас зовут Георгий Степанович?

И двинулась в ход сложная машина судебного процесса, внося своей привычной размеренностью успокоение в возбужденные нервы участников процесса.

Долго докладывал судебный пристав Ермолаев о нескольких десятках неявившихся свидетелей; еще дольше методично и отчетливо докладывал секретарь палаты Барановский о причинах их неявки, и, наконец, наступил момент, когда я должен был произнести свои первые слова после обращения ко мне председателя: «господин прокурор, ваше заключение о последствиях неявки свидетелей и возможности слушать дело».

Сердце мое колотилось; предстояло в сущности чисто деловое объективное заключение, но сознание, что я сейчас сам услышу свой голос, что на меня повернутся сотни любопытных и в большинстве враждебных взглядов, уже меня волновало.

Однако мне не пришлось тогда же дать заключение.

Максимович, выслушав доклад пристава и секретаря, помедлил несколько секунд и неожиданно произнес: «Объявляю перерыв на четверть часа»...

В совещательной комнате Максимович отвел меня в сторону и, уже не скрывая своего волнения и нервности, спросил меня:

— Какое вы дадите заключение?

Я ответил, что думаю продолжать заседание, потому что почти все подсудимые содержатся под стражей, а между тем у суда нет никаких гарантий более полной явки свидетелей к следующему заседанию.

— Послушайте, Владимир Александрович, — взволнованно возражал мне Максимович, — дело не в свидетелях, а во внешних условиях процесса. Нельзя требовать от судей и сторон спокойствия, когда их все время будет взвинчивать обстановка. Это пенье, эти толпы на улицах!.. Все это может ворваться в зал. Подумайте о достоинстве суда...

Я стоял на своем, и в это время в разговор вмешался подошедший к нам прокурор палаты.

— Иннокентий Клавдиевич, — горячо заговорил Камышанский, — если Бальц даст заключение об отложении дела, я его отстраню и сяду на его место. Надо слушать, иначе — простите — это просто малодушие.

— Ну, как знаете, — разочарованно ответил Максимович и отошел от нас.

Заседание возобновилось моим заключением, в котором я подробно мотивировал необходимость теперь же слушать дело.

У меня сохранилась в памяти маленькая деталь этого момента процесса.

— Неявку генерала Иванова и Алексея Суворина, — говорил я, — я полагал бы признать незаконной, немедленно назначить им новый срок вызова и в случае вторичной неявки подвергнуть их приводу.

Говоря это, я заметил какое-то движение на скамье подсудимых. Второй по счету подсудимый, Троцкий, оживленно жестикулируя, что-то говорил полушопотом своим соседям, Хрусталеву и

Сверчкову. Я понял, что подсудимые не ожидали, чтобы прокуратура дерзнула требовать привода жандармского генерала и всесильного тогда журналиста Суворина, и это доставило мне первое нравственное удовлетворение.

От имени всей защиты мне возражал О. О. Грузенберг. К великому моему удивлению, защита требовала отложения дела. Формальных поводов для этого, конечно, было достаточно, и возражение Грузенберга было всесторонне мотивировано.

Палата удалилась для совещания.

Это совещание длилось больше часа. Было совершенно ясно, что в совещательной комнате шла борьба двух мнений: слушать дело или отложить.

Наконец раздался звонок. Палата вышла, и Максимович огласил длинное, мотивированное определение о том, что палата постановляет: дело слушанием отложить.

В эту минуту я сделал, может быть, несвоевременное заявление. Я не дал Максимовичу объявить заседание закрытым и поспешил сказать, что я имею к палате ходатайство.

Максимович повернулся в мою сторону, заметно проявляя изумление и неудовольствие.

— Я прошу палату занести в протокол,—говорил я,—что в обвинительный акт вкрались две фактические ошибки.

Едва, однако, я успел объяснить, в чем именно эти ошибки заключаются, как Хрусталев вскочил

с места и резко, торопливо стал говорить, что его объяснения тоже «извращены» в обвинительном акте.

Поднялся общий шум. Максимович уже явно выпустил из рук дирижерскую палочку и, торопясь, встал с кресла со словами: «объявляю заседание закрытым».

И тем не менее защитник Н. Д. Соколов просил отметить ходатайство об освобождении всех подсудимых из-под стражи, некоторые защитники, подойдя к судейскому столу, делали еще какие-то заявления. За общим шумом нельзя было ничего понять, и, наконец, Максимович, со словами: «Палата все обсудит в распорядительном заседании», беспомощно снял цепь и закрыл заседание.

Так кончилась первая попытка судебного рассмотрения дела Совета Рабочих Депутатов.

4. Вторичное слушание дела.

Прошло три месяца.

Наступило 19 сентября 1906 года — день вторичного слушания дела Совета Рабочих Депутатов. Казалось бы, что времени прошло немного, но все, вся обстановка до мелочей, до деталей изменилась до неузнаваемости.

Прошла и безвозвратно исчезла первая политическая «весна» русской государственной жизни. Сверкнула в общественном сознании и исчезла первая Государственная Дума. Беззвучно прокатилось

по России Выборгское воззвание, бессмысленно и бесцельно изъязв из строя на целый ряд лет многих крупных политических деятелей. Благожелательный Столыпин времен первой Думы, а за ним и вся административная машина—получили твердый уклон вправо. Выражения общественного мнения как-то замерли, и во все сферы политической жизни все тверже и непоколебимее проникала черная реакция, опиравшаяся на ободрившиеся «миллионы союза русского народа».

Словом: «облетели цветы, догорели огни!»...

В этот именно «глухой момент» столичной жизни суждено было возобновиться процессу Совета Рабочих Депутатов. Изменилась и внешняя обстановка процесса. Так же, как и тогда, весной, у здания суда виднелись серые полицейские шинели, но тщетно было бы искать в настроении чинов полиции следов тревоги и волнения. Чувствовалась их твердая уверенность в своих силах, в том, что они снова — хозяева положения. И в самом здании суда не было уже ни роты Павловского полка, ни увеличенных жандармских нарядов. Не слышно было пенья марсельезы, и И. К. Максимович мог бы вести процесс, не опасаясь демонстраций и эксцессов.

Но—увы!—не было уже и самого И. К. Максимовича. Волею судеб и министра юстиции И. Г. Щегловитова, Максимович за лето успел перекочевать с Литейного проспекта на площадь у памятника Петра Великого и обречен был рассмат-

ривать дела коммерческих судов в роли сенатора судебного департамента сената.

Вместо Максимовича, руководителем процесса явился новый старший председатель палаты, Н. С. Крашенинников.

Его выдающаяся роль в деле, его далеко не заурядная личность привлекала к нему внимание всех соприкасавшихся с процессом—и прессы, и защиты, и подсудимых.

Властный и твердый характер Н. С. Крашениникова делал его везде и всегда неспособным на вторые роли; именно это сделало его центром внимания и на процессе Совета Рабочих Депутатов.

С первых слов, с провозглашением им обычного «объявляю заседание открытым», всякий почувствовал, что это уже не тремолирующие синкопы Максимовича, а уверенное и твердое «*andante maestoso*».

Один из публицистов, А. Вергежский¹, в газете «Речь» так описывал свои впечатления о председателе:

«Председатель очень корректно предоставляет всем полную свободу слова и только иногда останавливает, и то не по цензурным соображениям, а скорее из желания съэкономить время. Но в этой свободе чувствуется что-то ужасно давящее, похожее скорей всего на высокомерное торжество по-

¹ Тырхова.

бедителя. Искусством перекрестной игрой вопросов загнать свидетеля в тупик председатель владеет в совершенстве. В самой фигуре председателя, в его желтом лице, в острых глазах и такой же острой улыбочке, играющей около тонких, бледных губ, есть что-то законченное, стильное. И большая цепь, падающая на впалую грудь, довершает эту законченность. Точно видишь перед собой испанского судью времен Филиппа II. Так и кажется, что раздадутся слова: «Именем бога, спрашиваю вас, сын мой»...

Первая часть процесса, так сказать судебная увертюра, разворачивалась без особых инцидентов и велась в том приподнято торжественном тоне, который умел давать судебным заседаниям Н. С. Крашенинников.

Начался процесс с опроса подсудимых, и в эти минуты я впервые внимательно знакомился с индивидуальным обликом каждого из преданных суду бывших деятелей Совета Рабочих Депутатов.

Мне кажется, что, сколько бы еще лет я ни прожил на свете, я никогда не забуду скамьи подсудимых. И сейчас передо мною отчетливо представляется вся картина залы суда—и подсудимые, с которыми я провел, можно сказать, почти неразлучно целый месяц. У меня создались определенные симпатии и антипатии к отдельным обвиняемым, мне минутами казалось, что это просто знакомые мне люди, из которых одни кажутся мне привлекательными, интересными, умными, искрен-

ними, а другие вызывают к себе или безразличное отношение, или даже явную антипатию.

Опрос подсудимых начался, конечно, тем же вопросом, которым три месяца перед тем начал заседание И. К. Максимович.

— Подсудимый Хрусталеv-Носарь, вас зовут Георгий Степанович?

Со скамьи подсудимых поднялся молодой еще блондин среднего роста, с мягким, почти добрым выражением серых глаз.

Так вот он, знаменитый Хрусталеv, имя которого гремело на всю Россию в октябре и ноябре 1905 года. Я представлял себе Хрусталева человеком высокого роста, брюнетом, словом, именно так, как нам обыкновенно рисуют театральный тип «вождя масс». В действительности ничего подобного в Хрусталеве не было; только несомненное умение владеть собой, способность формулировать мысли и иногда неожиданная жесткость и резкость возражений показывали, что этот энтузиаст может обладать большой волей, что он в момент подъема способен подчинить себе на время коллективную волю и заставить толпу себя слушаться. Но в то же время Хрусталеv производил на меня впечатление человека чрезвычайно неровного и к тому же недостаточно вдумчивого. Едва ли это был выдающийся ум, едва ли даже это был человек определенных верований и выработанных убеждений. Мне казалось, что это человек, который способен «вспыхивать», но не может «гореть».

— Подсудимый Бронштейн, — продолжал свой опрос председатель, — ваш литературный псевдоним — Троцкий? Ваше вероисповедание?

— Я не принадлежу ни к какой религиозной общине, — ответил Троцкий.

Опрос подсудимых продолжался. По очереди поднимались со своих мест и отвечали на рутинные вопросы председателя главные деятели Совета. Вот член президиума Совета, похожий по облику на помещика, Сверчков-Введенский. Вот Кнунианц, он же Радин, — вспыльчивый и резкий армянин, делегат в Совет от партии большевиков, автор очень интересной книги «Первый Совет Рабочих Депутатов». Рядом с ним представитель партии социалистов-революционеров Авксентьев, который своими личными свойствами и манерой держать себя на суде вызывал неизменные симпатии публики и прессы.

Троцкий и Авксентьев представляли собой, как тип, полную противоположность. Оба они, словно сочетание «blanc et noir» отличались друг от друга всем, начиная с наружности.

Постепенно перед судом проходили остальные участники процесса. Крашенинников опрашивал каждого подробно, выдержанно, детально. Эти подробности судебного ритуала уже с первого заседания дали ему тот деловой характер, который до известной степени гарантировал сам по себе спокойный ход дальнейшего расследования.

Защита в этой стадии не вмешивалась в течение дела, она находилась в состоянии «перед боем», и я имел возможность внимательно всмотреться в ее ряды, в эту длинную ленту профессиональных моих противников, которые при нормальной постановке дела должны были в конечном итоге вместе со мной помочь суду в одной общей задаче—в установлении объективной судебной правды.

Можно сказать, что по делу Совета Рабочих Депутатов все, что могла дать талантливому, знающему, опытному в уголовном праве и процессе адвокатура обеих столиц, все собралось на скамьях защиты, приготовилось оборонять подсудимых, которые, кстати сказать, едва ли хотели обыкновенной судебной защиты, а искали процессуальных руководителей в недостаточно им самим знакомой судебной борьбе.

Я не буду восстанавливать в своей памяти всех представителей защиты, скажу только, что между защитниками были О. О. Грузенберг, Н. Д. Соколов, П. Н. Малянтович, Н. К. Муравьев, Л. Н. Андронников, братья М. В. и В. В. Беренштамы и А. С. Зарудный. Это были люди, уже тогда имевшие определенную репутацию и известность в судебных кругах Петербурга и Москвы, а, кроме них, среди молодых адвокатских сил пришли защищать подсудимых П. Н. Переверзев и пылкий, очень театральный, но всей душой преданный делу защиты А. Ф. Керенский.

Первые минуты, следовавшие за официальными формальностями начала процесса, связаны в моей памяти с совершенно новым для меня ощущением, с новой непривычной психологией.

Я неожиданно почувствовал пропасть между психологией обвинителя по уголовному делу и по делу политическому.

По делам уголовным прокурор стоит вне той борьбы, которая составляет жизненное содержание дела; обвинитель является стороной лишь в смысле процессуальном, но по существу дела он может по совести чувствовать себя посторонним судьей, не захваченным лично обстоятельствами дела. Это ощущение свободы в оценке дела и отсутствие заинтересованности в последствиях действий подсудимых могли создать действительно тот тип прокурора, который А. Ф. Кони определил крылатым словом «говорящего судьи».

По процессу Совета Рабочих Депутатов я с необыкновенной ясностью почувствовал, что такая объективная позиция по политическому делу если не совсем невозможна, то очень трудно достижима. Нельзя перестать быть гражданином, нельзя убедить себя в том, что на время искания судебной правды надо забыть свои политические убеждения, надо объявить самому себе нейтралитет. Не даром же талантливый и пылкий Камышанский с раздражением доказывал мне, что попытка быть нейтральным не может ни к чему привести.

— Какой вздор!—говорил Камышанский.—Какой там «говорящий судья». Это неестественно. Это делает обвинителя не «говорящим судьей», а «кастрированным прокурором»!

Впервые я почувствовал, что в резких словах Камышанского была значительная доля правды. Неужели я не мог бы, если бы хотел, искренно опровергать политические построения, положенные в основу процесса? Неужели у меня совсем не нашлось бы слов, чтобы возражать против тех или иных соображений подсудимых и защиты? Конечно, нет. Конечно, можно было не сводить своей задачи к доказательству формулы: состав наказуемого деяния доказан—значит, должен быть обвинительный приговор. Можно было, не противореча своей совести, приводить соображения не только формальные, но и соображения по существу дела.

И тем не менее я наложил на себя в этой области veto и остался нейтральным. Не знаю, поскольку мне это удалось, но знаю одно: это единственная верная позиция, которую мог занять перед судом обвинитель по этому делу.

Необыкновенная громоздкость дела Совета Рабочих Депутатов создала, конечно, чрезвычайно длинное формальное вступление в процесс. Разные предварительные вопросы заняли несколько дней. Наконец, все это кончилось. Палата постановила дело слушанием продолжать, и старший председатель, объявив об этом, обратился к секретарю Я. В. Барановскому со словами: «Г. секретарь,

огласите обвинительный акт»... Судебная увертюра окончилась, начинался первый акт судебной драмы.

Я не собираюсь излагать в своих воспоминаниях подробно ход процесса или, вернее, ход судебного следствия.

Можно с уверенностью сказать, что фактическая сторона дела была установлена вне всякого спора. Обе стороны в процессе оперировали над материалом настолько твердым, что в сущности его установление вовсе не требовало почти месячной работы судебного следствия.

И подсудимые, и я совершенно не оспаривали внешней истории деятельности Совета, начиная со дня его возникновения и кончая третьим декабря, то-есть днем ареста. Напротив, на суде, кроме данных обвинительного акта, фигурировало, подтверждая ее, письменное заявление, составленное теми из обвиняемых, которые принадлежали к с.-д. партии, и направленное ими в Центральный Комитет этой партии.

Заявление это, уже после вручения подсудимым обвинительного акта, было найдено по обыску у Ю. Цедербаума (Мартова). На суде подсудимые—и притом главнейшие из них—не отрицали своего авторства, а между тем содержание этого документа представляло собой сжатую форму отчета о деятельности в Совете членов партии, объясняло их намерения и подтверждало полностью выводы обвинения, так как авторы письма указывали, что

они стремятся создать в России демократическую республику и для этой цели готовят идейно вооруженное восстание.

Не в фактических обстоятельствах дела, изложенных в обвинительном акте, сосредоточился общественный и политический интерес процесса, а в том, что судебный процесс отразил в себе самые разнообразные общественные течения той эпохи и наглядно показал взаимоотношения административной государственной власти, буржуазных и интеллигентских кругов и пролетариата, которые так причудливо переплелись между собой в это необыкновенное время, оборвавшееся резким, крутым поворотом к черной, твердой реакции.

Источником для суждения обо всех этих течениях явились на суде сами подсудимые, свидетели и защита.

Сообразно этим категориям я постараюсь восстановить в своей памяти наиболее яркие, наиболее типичные черты, характеризующие подсудимых, свидетелей и защиту.

5. Подсудимые.

Подсудимые с первого же дня процесса заняли совершенно определенную политическую позицию. Для них гласный суд явился аудиторией, которой они, вовсе этого не скрывая, пользовались для широкого распространения в обществе сведений о существе и целях деятельности Совета. Активное

участие подсудимых в судебном следствии было в их глазах агитационным средством, и только с этой точки зрения они и считались с судебной властью.

Надо признать, что с другой задачей суда, то есть с приговором, подсудимые не считались вовсе. Они подчеркивали свое безразличие к судебному исходу процесса, к наказанию, и, конечно, не упускали случая, чтобы подчеркнуть, что они не ждут оправдательного приговора, но не потому, что признают нарушение ими закона, а потому, что «коронный» суд иного приговора вынести им и не может.

Не даром же О. О. Грузенберг говорил в печати, что для защиты на первом плане должны быть интересы подсудимых, но лишь пока подсудимые сами не отвергнут этих забот. По словам О. О. Грузенберга, подсудимые по делу Совета говорили защите: «Не заботьтесь о нашей участи более, чем мы сами»...

Сами они, надо это признать, о своей участи не заботились вовсе, а временами даже усиливали против себя улики; давали, по выражению Грузенберга, «совершенно даром» обвинению такие признания, которые прокурору было бы очень трудно доказывать.

Тактика подсудимых была чрезвычайно последовательна, планомерна и была, несомненно, проведена по заранее продуманной системе. Система эта выразилась в том, что подсудимые раз-

делили между собой разные стороны деятельности Совета и произносили речи, освещая каждый определенную сторону этой деятельности и давая таким образом всесторонний отчет общественному мнению.

Еще до прочтения обвинительного акта подсудимый, член Исполнительного Комитета Злыднев заявил палате:

— Мы решили принять участие в настоящем исключительном суде только потому, что находили это необходимым в целях политических—для широкого публичного выяснения истины о деятельности Совета Рабочих Депутатов.

Затем, после прочтения обвинительного акта, на предложенный каждому из подсудимых вопрос о виновности, все они ответили отрицательно, но при этом пояснили, что это отрицание вовсе не относится к фактической стороне дела, а сводится к тому, что понятие виновности к нам неприменимо.

Ответы некоторых, наиболее крупных подсудимых были настолько характерны, что заслуживают быть здесь отмеченными в общих чертах.

Хрусталеv объяснил суду, что деятельность Совета не была проявлением индивидуальной «злой» воли, а явилась исторически и политически необходимой.

Троцкий, ответив отрицательно на вопрос о виновности, заявил, что он в своей деятельности

руководствовался принципами с.-д. партии, которая выражает интересы пролетариата.

Сверчков заявил, что деятельность Совета он не считает преступной, и что его личное участие определялось директивами партии с.-д.

Авксентьев, в свою очередь, пояснил, что он руководствовался директивами партии с.-р. и свое участие в борьбе за свободу России считал своим гражданским долгом.

Подсудимый Кнунианц-Радин (большевик) чрезвычайно своеобразно пояснил палате, что он совсем не может ответить на вопрос о виновности, так как его представление о виновности и представление о виновности уголовного кодекса полицейского государства резко расходятся. Деяния, предусмотренные 101 и 102 статьями уголовного уложения, он не признает преступными.

Наконец, подсудимый Вайнштейн-Звездин заявил, что он признает себя виновным, но вину свою усматривает в том, что деятельность его в Совете не была так значительна, как могла бы быть.

При дальнейшем развитии процесса подсудимые принимали самое живое участие в ходе судебного следствия, предлагали свидетелям вопросы, разъясняли смысл оглашавшихся во время процесса документов и, как я уже говорил, произносили речи.

Таких речей было произнесено восемь. Распределены они были по следующему плану: Хрусталеv

в качестве председателя Совета изложил его историю от дня возникновения Совета до ареста Хрусталева; Сверчков, вошедший после этого ареста в состав президиума, продолжил рассказ Хрусталева до последнего дня существования Совета; большевик Кнунианц и Авксентьев, входившие в Совет в качестве представителей политических партий, разъяснили суду взаимоотношение Совета и партий социалистов-революционеров и социал-демократов; Симановский говорил на тему «Совет и печать», Злыднев—на тему «Совет и граф С. Ю. Витте», а Троцкий взял на себя тему «Совет и вооруженное восстание».

Наконец, кроме перечисленных вождей Совета, говорил также и один из подсудимых, Эразм Комар. Эта речь не была, так сказать, программной, но самый факт ее произнесения был чрезвычайно характерен.

Комар входил в состав Исполнительного Комитета Совета, но не был в числе руководителей его деятельности. Простой рабочий литейного завода, он очень скромно сам выражал недоумение, почему именно на него выпала доля быть в Совете представителем завода. На суде Комар счел необходимым выступить с особой речью, чтобы усиленно подчеркнуть свою солидарность с намерениями и деятельностью Совета.

Технически Комар уличался показаниями нескольких свидетелей, которые на суде от ссылок на него отказались. Сам он на дознании почти ни-

каких объяснений не дал, и таким образом в смысле обвинения против него почти ничего не оставалось. Я считал, что Комар обвинен быть не может, и вдруг он по собственному почину произнес свою речь. Он говорил о своем участии в борьбе с существующим строем и закончил словами, что Совет можно обвинять только в том, что он не достиг своей цели, не сумел свергнуть государственную власть и не добился возможности «водрузить красное знамя на здании русского Учредительного Собрания».

Первая по очереди речь подсудимых, речь Хрусталева-Носаря, была очень хороша и по содержанию и по форме.

Это был, действительно, отчет председателя Совета своим избирателям.

Хрусталев обрисовал всю деятельность Совета, доказывал, что Совет не мог не бороться с правительством, так как оно даже «не оплатило векселя 17 октября». Хрусталев называл Совет Рабочих Депутатов «рабочим парламентом», а Исполнительный Комитет—его ответственным министерством, при чем иронически замечал, что их министры не получали ни субсидий, ни казенного жалования.

Вместе с тем Хрусталев подчеркивал, что Совет был лишь выразителем желаний, исполнителем воли петербургского пролетариата и в силу этого не мог не быть чрезвычайно демократичным, так как в нем играл широкую роль референдум, обес-

печивавший постоянное обновление его состава. Закончил Хрусталев пророческим заявлением, что Совет Рабочих Депутатов представляет собой такую политическую форму, которая далеко не изжила себя и должна скоро опять воскреснуть.

В общем, в своих основных чертах, изложение Хрусталева мало разнилось от изложения фактической стороны обвинительного акта, и я не знаю, зачем Хрусталеву понадобилось прибегнуть к полемическому приему в форме заявления, что после его речи «от обвинительного акта должна остаться одна сплошная опечатка в 57 печатных страниц».

Речь Сверчкова-Введенского явилась продолжением речи Хрусталева и излагала деятельность Совета от 26 ноября до 3 декабря 1905 года, то есть за тот период времени, когда правительство, по выражению Сверчкова, объявило Совету открытую борьбу. Описав избрание президиума Совета, в составе Троцкого, Злыднева и самого оратора, Сверчков подчеркнул, что к концу существования Совета его авторитет возрос и расширился настолько, что к его защите и влиянию прибегали уже отдельные лица с разных концов России.

Речи Кнунианца и Авксентьева были чрезвычайно характерны.

Оба они, в сущности, говорили на одну тему «Совет и партия», но отношение каждого из них к этому вопросу было глубоко различно.

Кнунианц, как и Авксентьев, признавал, что Совет был беспартийным, но, в то время как Авксентьев считал это одним из крупнейших организационных достоинств Совета, Кнунианц как бы только мирился с таким положением, хотя и утверждал, что обвинительный акт говорит неправду, ссылаясь на то, что социал-демократы требовали принятия Советом их программы. В то же время Кнунианц указывал на то, что Совет вел с.-д. политику, потому что, как классовая пролетарская организация, он мог следовать только этой политике.

Авксентьев решительно утверждал:

— Мы (то-есть эсеры) стояли за беспартийность Совета; мы понимали, что настаивание на партийной программе уничтожит солидарность и разрушит единство Совета.

Кнунианц утверждал как будто то же самое, но в действительности чувствовалось, что это «то да не то». На суде все время чувствовалось, что между эсдеками и эсерами шла в Совете борьба за влияние, при чем влияние эсеров было неизмеримо слабее влияния эсдеков. Борьба эта сдерживалась как объединяющим настроением исторического момента, так и большим количеством в составе Совета беспартийных рабочих.

Теперь, когда знаешь все соображения бывших партийных членов Совета не только по судоговорению, но и по их печатным статьям, эта истина не подлежит никакому сомнению.

«Социал-демократические элементы в Совете были настолько сильны,—говорит в своем сочинении Кнунианц-Радин,—что все шаги Совета определялись партийной тактикой и направлялись партийными деятелями».

«Большевики особенно настаивали,—продолжает Радин,—на необходимости употребить все усилия для принятия Советом партийной программы. Меньшевики стояли за более медлительную тактику».

Такой же, более медлительной тактики держался и Хрусталеv, примыкавший к меньшевикам. В своем печатном изложении деятельности Совета он только подтверждает выводы обвинительного акта. «Фракция большевиков,—говорит он,—определенно ставила дилемму: или Совет должен принять социал-демократическую программу, или Совет должен быть распущен». Хрусталеv был решительно против этого. «Разве 200.000 рабочих могли мгновенно превратиться в социал-демократов от одного голосования программы на заседаниях Совета!» восклицает Хрусталеv. «Это грозило бы разбить мощную классовую революционную организацию пролетариата».

Еще решительнее была позиция социалистов-революционеров, которые, оказывается (на суде это известно не было), вынесли даже весьма резкую резолюцию протеста, в которой говорилось: «1) Совет не имеет права присоединяться к какой-нибудь партии, так как он избирался для пред-

ставления всех рабочих, и 2) утверждение федеративного комитета соц.-дем. о том, что их партия является единственной представительницей интересов рабочих, не соответствует истине».

Теперь, когда знаешь все перипетии этой внутренней полемики, становится бесспорным, что в качестве автора обвинительного акта я не погрешил против истины, поместив в его тексте осторожную ссылку на статью легальной газеты «Новая жизнь», автор которой признавал, что «Совет в политике своей идет за социал-демократией, что партии он заменить не может и что вопрос о его способности руководить активными действиями масс может быть решен лишь в смысле принятия Советом социал-демократической программы и лозунгов».

Совет остался беспартийным; попытки противников этой беспартийности разбились, и Кнунианцу, конечно, тактически важно было продемонстрировать перед судом единство Совета, не обнаруживать шедшей в Совете партийной борьбы.

Понятно поэтому, что, говоря об обвинительном акте, Кнунианц с горячностью восклицал в своей судебной речи:

— Ничего подобного! Совет не занимался спорами о партийности и программе. Это были споры партий, а не Совета!

Речи Симановского и Злыднева дополняли общую картину. Обе эти речи давали лишние штрихи, лишний фактический материал к объяснениям Хрусталева. Из этих речей я помню признание

Симановского, что рабочие печатного дела, действительно, взяли на себя «цензурные функции», но применяли их только к «черносотенной прессе», а также что рабочие угрожали насилием за неисполнение их требований, но что авторитет Совета был так силен, что прибегать к насилию фактически не приходилось.

Злыднев произнес речь на тему — «Совет и власть». Он говорил о двух случаях объяснений членов Совета с графом С. Ю. Витте, которые были изложены в обвинительном акте. Рассказ Злыднева не внес каких-либо существенных новых деталей в эти эпизоды, а более широкой картины взаимоотношений Совета и государственной власти Злыднев в своей речи не дал. Кончил свою речь Злыднев словами:

— Так кончились сношения тайного сообщества с председателем совета министров!

Восклицание это, очевидно, должно было подчеркнуть, что Совет отнюдь не был тайной организацией. Однако этого никогда не утверждало и обвинение, о чем я затем подробно говорил в своей речи.

Совершенно особняком от других стояла речь Троцкого-Бронштейна.

Эта речь была наиболее обширна по своему объему из всех речей, произнесенных подсудимыми, и имела своей главной темой «Совет и вооруженное восстание».

Когда Троцкий кончил говорить, кто-то из защитников (кажется А. С. Зарудный) попросил объявить перерыв, и эта просьба была удовлетворена.

Должен признать, что часть доводов Троцкого и его освещение фактов, в связи с другими данными судебного следствия, толкнули меня на совершенно реальный шаг, на отказ от обвинения по 101 статье Уголовного Уложения, то-есть от обвинения в приготовлении вооруженного восстания.

К этому меня привело следующее. Данные жандармского дознания фиксировали такие моменты, как найденная в делах Совета записка какого-то неразысканного Богданова о доставлении ему «транспортов оружия» и как заметки в черновиках советских бумаг о вооружении «тысяч рабочих». Между тем на суде никаких реальных подтверждений таких приготовлений к вооруженному восстанию не было установлено. Действительно, осталось только несколько десятков револьверов, найденных у рабочих. Едва ли при таких условиях можно было говорить о «техническом приготовлении», которое по закону должно дать «возможность осуществить задуманное преступление». Задумать вооруженное свержение монархии и для этого запастись десятью или двадцатью револьверами — это явная несообразность. Это значит признать, что гора родила мышь, и доказывать такую позицию значило идти в разрез с фактическими обстоятельствами дела.

С другой стороны, в моих глазах сильно изменилось на суде представление о реальном нарастании в Петербурге реакционного течения в некоторых группах населения, готового перейти к насилию.

Как я уже говорил, в октябре и ноябре 1905 года я был в Нижнем-Новгороде, а не в Петербурге, а потому о событиях того времени я судил не как очевидец, а по газетам, по рассказам, по данным дознания.

Когда на суде картина того времени стала для меня, так сказать, облекаться в плоть и кровь, то мои выводы сильно изменились. Я понял, что субъективное сознание опасности погромов в рабочих массах было, а следовательно, логически было естественно и вооружение этих масс и при том именно в пределах и формах, достаточных для обороны от погромщиков, но абсолютно негодных для реального осуществления вооруженного восстания против монархии.

Другими словами, обстоятельства дела убедили меня в том, что деятельность Совета не укладывается в рамки 101 статьи Уг. Улож., и от этого обвинения я решил отказаться.

Конечно, я понимал, что этот отказ почти на верное вызовет против меня «громы и молнии», а потому до конца судебного следствия и до своей речи никому об этом не говорил.

Речи подсудимых не исчерпывали их участия в ведении судебного следствия. Почти все подсуди-

мые принимали в происходившем на суде активное участие на всем протяжении следствия, и я не могу не подчеркнуть, что все они были безупречно корректны к суду и что на этом процессе не было ни одного выпада в тех явно оскорбительных формах, к которым иногда прибегали на суде некоторые наши революционеры.

6. Свидетели.

Свидетели на этом колоссальном процессе были так многочисленны, что пришлось бы написать целую книгу, чтобы хоть в сжатом виде изложить сущность их показаний. Вместе с тем было очень мало свидетелей в том смысле, в котором мы привыкли понимать это слово в обыденной жизни.

Мне кажется, что я правильно определяю значение свидетельских показаний по делу Совета, если скажу, что каждый из свидетелей принадлежал к одной из трех категорий: враги, союзники и лица, посторонние делу.

К первой категории принадлежали чины полиции и корпуса жандармов, ко второй — рабочие и представители либеральной и радикальной интеллигенции и, наконец, к третьей — те люди, которые стояли вне непосредственной деятельности Совета, которые не принимали участия в событиях октябрьской революции и которых привели в залу суда случайные обстоятельства.

Эта последняя группа свидетелей почти никакого общественного интереса не представляла. По-

казания этих свидетелей носили чисто эпизодический характер и удостоверяли факты, не имевшие прямого политического значения. Это были или служащие тех типографий, в которых «явочным порядком» печатались «Известия Совета», или почтово-телеграфные чиновники, не желавшие примкнуть к забастовке, или, наконец, нижние чины, участвовавшие в арестах и обысках.

Невольно припоминается комичный диалог между одним из таких свидетелей и защитой. Старый жандармский унтер-офицер дает показания с непоколебимым спокойствием и чувством собственного достоинства. Вдруг один из защитников спрашивает его:

— Скажите, свидетель, что такое черносотенец?

— Вы сами знаете, — неожиданно огрызается свидетель и затем еще более неожиданно добавляет:

— Вот некоторые и меня называют черносотенцем, а я человек правительственный.

На дальнейшие попытки защиты выяснить тот же вопрос, свидетель круто поворачивается к председателю и говорит:

— Ваше превосходительство, разрешите прекратить словесный разговор.

В зале смеются, судьи с трудом сдерживают улыбки, и свидетель удаляется, окинув защиту победоносно-презрительным взглядом.

Допрос свидетелей-врагов чрезвычайно взвинчивал и без того нервное настроение залы. Чувствовалось, что в ход процесса ворвалась струя безграничной ненависти и взаимного непонимания, и что нельзя ждать ни объективных свидетельских показаний, ни объективной их оценки.

Мне бесчисленное количество раз приходилось видеть полицейских свидетелей перед уголовным судом; я знал психологию большинства этих людей; я приучился учитывать значение таких показаний, но никогда я не видел такого посрамления, как то, которое обнаружилось в этом деле. Не даром же свидетели этой категории употребляли все усилия, чтобы избежать явки в суд; очевидно, если не все, то некоторые предвидели, что гласное освещение их работы обратится в нечто весьма тяжелое для них.

В общем, из всех этих показаний можно было сделать один вывод: полицейско-жандармское дознание велось безобразно; при этом дознании был допущен целый ряд грубых нарушений, и многое не было разработано с той спокойной объективностью, которая придавала бы работе характер бесспорной доказанности.

Я уже говорил в начале моих воспоминаний, какое гнетущее впечатление произвело на меня открытие, которое не могло не возмутить до глубины души.

В актах дознания значилось, что подсудимые были предъявлены свидетелям и свидетели опозна-

ли в том или другом подсудимом то именно лицо, которому свидетели в своих показаниях приписывали определенные действия.

На суде подсудимые в один голос заявили, что никогда такого следственного действия над ними произведено не было и никаким свидетелям они не предъявлялись. Было совершенно ясно, что жандармская власть (и, к сожалению, отдельные представители прокуратуры) допустила явные нарушения закона.

Противоречие между утверждением подсудимых и заявлениями жандармов в конце-концов выяснило следующее.

Жандармы, очевидно, понимали, что если свидетелям-рабочим предъявить обвиняемых, то свидетели откажутся их опознавать и откажутся от своих показаний. Между тем только путем личного предъявления можно было твердо связать показания свидетеля с личностью того или другого подсудимого. Для этого жандармы прибегли к следующему незаконному способу. В жандармское управление вызывались группами подсудимые, которых ни о чем не предупреждали, а свидетелям показывали подсудимых, просто проводя свидетелей через залу, или даже показывая им арестованных через стеклянные двери. Затем составлялся протокол предъявления, произведенного якобы с соблюдением требований устава уголовного судопроизводства, и создавался точный и определен-

ный для обличения отдельных подсудимых материал.

Ничего не подозревая, я, конечно, внес этот материал в обвинительный акт, и разоблачение действительной обстановки на суде произвело на меня впечатление взорвавшейся бомбы. Конечно, такой сюрприз был полностью использован защитой, и генерал Иванов, признавая, хотя и с оговорками, приведенные факты, чувствовал себя у пюпитра свидетеля едва ли очень приятно.

Да вообще свидетели этой категории во время допросов поджаривались, как на огне. По уголовным делам мне иногда приходилось заступаться за чинов полиции, когда на них велась несправедливая, по моему мнению, атака со стороны защиты, но по этому делу я твердо решил не ввязываться в допросы. Свидетели пожинали плоды собственных трудов, и я чувствовал невольное раздражение, понимая, что все эти дефекты и нарушения закона бросают тень и на прокуратуру, и на родное мне судебное ведомство.

Если бы я ненавидел это ведомство, если бы я был ярым революционером и старался дискредитировать судебную и правительственную власть,—я бы поручил дознание по этому делу именно тем, которые его производили, о чем я уже говорил в начале своих заметок.

У всякого слушавшего процесс невольно являлся справедливый вопрос: если уже по такому все-российскому делу так велось расследование, то

что же делается по более мелким делам и притом не в Петербурге, а где-нибудь в глухой провинции? если так велось дознание, то как может суд строить на таких доказательствах приговор?

Люди, которые бы так рассуждали, были бы, конечно, правы.

Вот почему по процессу Совета Рабочих Депутатов можно было основываться только на письменных доказательствах и на тех фактах, которые признавали подсудимые.

Так я и поступил в своей речи, но я должен сказать, что если бы подсудимые, пользуясь своим правом, отказались давать объяснения, то в распоряжении суда не было бы никакого материала, кроме письменных доказательств, и если бы эти доказательства и привели суд к выводу о наличности по делу 102 статьи, то субъективная судьба отдельных осужденных, в зависимости от уличающего материала, была бы, надо думать, иная.

Дознание по делу Совета кричащим образом подняло вопрос о пригодности жандармской власти к следственному производству. Хотелось сказать творцам этого жандармского производства, что впредь ни одно дело не должно идти каким бы то ни было путем, кроме нормального предварительного следствия.

Одним из наиболее действительных и наиболее печальных оснований для падения общего уровня судебных нравов была именно постановка рассле-

дований по делам о государственных преступлениях.

Свидетели-союзники были представлены на суде, конечно, прежде всего рабочими.

Рабочие являлись наиболее многочисленной группой свидетелей. За все время процесса перед судом давали показания несколько сот рабочих. Некоторая часть из них была вызвана мною, а значительное большинство допрашивалось по ходатайству подсудимых.

Однако в этом деле в среде рабочих не было той разницы, которая создала в судебной практике даже два технических названия: свидетели обвинения и свидетели защиты. Не было того, ненормального, конечно, явления, которое выражается в том, что об одном и том же объективном факте два очевидца рассказывают диаметрально противоположное.

Все вызванные на суд рабочие удостоверяли одно и то же, и весь фактический материал, который они сообщали, был направлен против обвинения. Из этого можно было бы сделать вывод, что, значит, и факты говорили против обвинения. Я, однако, глубоко убежден, что объективно это было не так. Рабочие чувствовали себя в этом деле не свидетелями, а заинтересованной стороной, они видели в подсудимых своих представителей, своих «депутатов», и потому совершенно понятно, что их показания были ярко окрашены в защитный цвет. Я далек от мысли утверждать, что субъективность

и односторонность показаний являлись результатом лжи и извращения фактов. Нет и, конечно, нет!

Рабочие считали правильной революционную политику Совета, они и в зале суда продолжали видеть в большинстве подсудимых своих идейных руководителей, верить их авторитету, признавать себя солдатами одной с подсудимыми революционной армии.

Общий смысл, общее содержание показаний рабочих сводились к утверждению, что Совет являлся лишь «выразителем воли масс», а потому все рабочие ответственны за действия Совета совершенно так же, как и лица, сидящие на скамье подсудимых. Многие рабочие прямо заявляли палате просьбу о том, чтобы и их посадили на скамью подсудимых. Еще больше это выражение солидарности проявлялось в резолюциях разных фабрик и заводов, резолюциях, которые в большом количестве были представлены палате свидетелями. Эти резолюции, вынесенные от имени тысяч рабочих, протестовали против суда, указывали на Совет, как на выразителя воли масс, и некоторые из них кончались требованием предать всех рабочих суду вместе с их депутатами.

Кстати, некоторые представители магистратуры и прокуратуры упрекали меня за согласие приобщить к делу и огласить эти резолюции. Я признавал и признаю, что это было формальным нарушением, ибо, разумеется, эти резолюции заменяли

свидетельские показания и, следовательно, оглашению не подлежали, но я утверждаю, что отказать в оглашении этих резолюций было бы мелко и недостойно, так как подсудимые твердо считали, что содержание резолюций доказывает невозможность или неправильность применения судебных норм к одним только рабочим «депутатам». Следовательно, резолюции (с точки зрения защиты) имели и могли иметь не только политическое, но и судебное значение.

Позиция свидетелей-рабочих на процессе Совета лишний раз убедила меня в самостоятельном значении роли руководителей рабочих масс. Руководители выводили настроение масс из пассивного состояния, облекали это настроение в реальные формы, и я был прав, говоря в речи, что именно это и делает руководителей ответственными при безответственности масс, так как «революция не есть образ мышления — революция есть образ действия».

Наблюдение над показаниями этой категории свидетелей дало бы специальному исследователю богатый и интересный материал для суждения о степени политической сознательности в столичной рабочей среде того времени. Конечно, на процесс были вызваны наиболее сознательные элементы. Бесцветные и бледные слои рабочих, а тем более реакционные группы их не давали сами по себе такого материала, который в глазах защиты делал бы их нужными в роли свидетелей.

Но и в той длинной ленте свидетелей, которая прошла перед судом, степень сознательности не была одинакова у всех допрошенных судом рабочих. Некоторые из них поражали своим критическим отношением к переживаемому моменту. Из их ответов чувствовалось, что их показания являются результатом не только навейного, но продуманного и сознательно воспринятого мирозерцания. Конечно, точка зрения их была однообразна в том отношении, что все они почти сплошь считали себя по своему политическому сгедо—социалистами, преимущественно социал-демократами, и что почти во всех их взглядах чувствовалась не только антипатия, но и прямая ненависть к существующему строю.

Рабочие из менее сознательных говорили по существу то же самое, что и остальные их товарищи, но у них чувствовалась более книжная, более навейная оценка внешних событий. Трудно было говорить, конечно, о широких горизонтах, о том, что критическое отношение к воспринимаемому сделало уже каждого рабочего готовым политическим деятелем, но считать рабочих действующими в качестве бессознательной толпы — значило бы не знать и не понимать их психологии, их настроения.

Бесконечно наивно звучало на суде чтение известного воззвания графа С. Ю. Витте к рабочим, начинавшегося словами: «Братцы-рабочие». Уже один этот тон обращения, заимствованный из па-

триархального солдатско-крестьянского быта, свидетельствовал о безграничном непонимании действительности, которое делало язык рабочих чуждым, даже враждебным для носителей высокой государственной власти.

Можно сказать, что это обращение премьера к рабочим опоздало по своей форме лет на пятьдесят.

Суд над Советом обращался минутами нето в экзамен, нето в турнир между председателем и рабочими.

Н. С. Крашенинников со свойственным ему умением ставил рабочим вопросы по существу их показаний, допытываясь от них самостоятельного определения таких понятий, как учредительное собрание, демократическая республика, вооруженное восстание...

Некоторых свидетелей председателю удавалось, конечно, что называется, загнать в тупик: они сбивались, и их ответы делались путанными и неясными; другие свидетели приходили в состояние раздражения и начинали отвечать председателю резкостями; но эти дефекты ответов далеко не всегда объяснялись, мне кажется, непониманием вопроса. Свидетели отвечали с опаской, они чувствовали, что их прижимают к стене, что от них хотят ответов, которые могут повредить подсудимым. Этого они боялись, и это заставляло их уклоняться от прямых ответов, а иногда придавать своим ответам чрезвычайно смягченный характер,

в роде утверждений, что Совет заботился о материальных нуждах рабочих и политической борьбы не вел, или что задачей Совета было проведение в жизнь манифеста 17 октября.

Однако значительное количество рабочих надо было признать выдержавшим председательский экзамен и проявившим большую продуманность в ответах. Особенно мне памятен представитель союза конторщиков Лучинин, чрезвычайно ярко и красочно разъяснявший суду разницу между идейной и технической подготовкой вооруженного восстания.

В общем я бы решился сделать такой вывод.

Рабочие массы Петербурга в конце 1905 года представляли собой элемент, готовый к участию в управлении политической жизнью страны. Классовое самосознание (я бы даже сказал — инстинкт) делало рабочих пламенными социалистами, резко противопоставляя их идеалы существующему буржуазно-капиталистическому строю; но при этом рабочие, усвоив себе твердо социалистические лозунги, мало входили в оценку тех путей, той тактики, которыми можно было прийти к проведению их идеалов в жизнь. В этом отношении они шли за своими руководителями, вверяли им избрание той или иной формы борьбы и по их зову были готовы на жертвы.

Переходя к воспоминаниям о следующей группе свидетелей-союзников, а именно к представи-

телям либеральной и радикальной буржуазии, я должен сказать следующее.

Совет Рабочих Депутатов, при всей своей беспартийности, был самым существом своим отмежеван и справа, и слева. Справа он упирался в наиболее радикально настроенные слои интеллигенции и буржуазии, слева — он отграничил себя от анархистов, которым не было дано места в Совете.

Таким образом, интеллигенция, объединявшаяся главным образом в «Союзе Союзов», стояла от Совета особняком и занимала в ходе революции особое место.

Отношение Совета к либеральным слоям буржуазии было совершенно определено и ясно: это было отношение полуироническое, полупрезрительное.

«Революционеры на час!» — иронизировал по адресу либералов Хрусталеv.

«Либерализм держится того мнения, — говорил Троцкий в одной из своих статей, изданной, кажется, после процесса, — что недостаток силы следует при всяких условиях возмещать быстротой ног. Истинно-мужественной, зрелой, обдуманной и целесообразной тактикой он считает дезертирство в самую решительную минуту. Его громадное преимущество состоит в том, что он легок на ногу, благодаря тому, что на нем не тяготеет тяжелое бремя доверия массы и ответственности перед ней».

Подобного рода мнения своих лидеров разделял и Совет. В своем печатном органе, «Известиях», Совет иронизировал, что разные «Союзы Союзов» только пишут резолюции да выносят бумажные протесты в то время, когда пролетариат проводит фактически революционные начала в жизнь. Словом, Совет изображал наших либералов и радикалов в роли крыловской мухи, которая ехала на рогах революции и при достижении успехов с гордостью заявляла: «мы пахали!»

На суде появились подлинные представители этого класса общества, очень разнообразные по наименованиям, но близкие друг другу по своему политическому облику и по своему отношению к Совету.

Профессора, инженеры, адвокаты, литераторы, педагоги — они все стояли именно на платформе «Союза Союзов» и, конечно, отличались своими воззрениями и тактикой от чисто пролетарского Совета.

Тем интереснее представлялись на суде их показания. Можно было ожидать от них освещения деятельности Совета, так сказать, «со стороны». Однако этого не случилось.

Свидетели эти разбились по существу своих показаний на две группы.

Одна, весьма малочисленная (всего несколько человек), преимущественно, кажется, из гласных петербургской городской думы, явно эволюционировала вправо за период времени с октября 1905 го-

да по день суда. Ясно чувствовалось, что их объяснения на суде сильно разнятся от их действий и речей в октябрьские дни. Если память мне не изменяет, то наибольшие неясности на суде возникли при освещении вопроса об образовании в Петербурге городской милиции. Я лично так и не понял, какую же позицию в этом вопросе занимала в октябре городская дума.

Другая группа свидетелей этой категории, гораздо более многочисленная, в своих показаниях ни в чем не обнаружила принципиальных разногласий своих с деятельностью Совета.

Я лично вынес, может быть, и неверное, но определенное впечатление. Свидетели этой категории считали, что зал суда — не место для того, чтобы сводить счеты или спорить с представителями пролетариата, особенно когда над этими представителями висела угроза каторжных работ.

Вот почему я отношу этих свидетелей тоже к «союзникам». На фоне их показаний объяснения, которые давали рабочие, стали еще ярче и красочнее, так что весь этот материал судебного следствия еще больше усилил, если можно так выразиться, ту позицию, которую последовательно и планомерно занимали на суде подсудимые.

7. Защита.

Мои воспоминания о том материале, которым мог оперировать суд при рассмотрении и разрешении дела, исчерпаны.

На этих же материалах строила и могла строить свои оборонительные позиции и защита.

Она поставила своей задачей политическое освещение дела, в этом усматривала общественную сторону своей работы, но вместе с тем попутно разрабатывала судебное следствие, стремясь привести палату к выводу о невозможности обвинительного приговора за отсутствием состава преступления по 102 статье (сообщество) и за фактической недоказанностью 101 статьи (приготовление вооруженного восстания).

Политически-общественное задание защиты сводилось к стремлению широко осветить деятельность Совета как организации общественно-политической, дать картину взаимных отношений государственной власти и общественных течений, с одной стороны, и Совета — с другой. Не знаю, конечно, какой из этого вывод хотела сделать защита.

Думаю, что, вне связи с судебными задачами процесса, это политическое освещение дела и не должно было иметь определенного вывода. В задачи защиты входило лишь фиксирование известной исторической картины, а выводы сделало бы уже общественное мнение. Это мнение, впрочем, было уже predetermined, и для его выводов не надо было судебного процесса.

В этом отношении было очень характерно замечание В. В. Х-ва в газете «Товарищ»: «Обществу должно быть трудно помириться с происходящим

теперь судом, — говорил этот автор, — оно не может не чувствовать, что вместе с Советом Рабочих Депутатов судят его собственное молодое время, полное увлечений, верований и надежд, от которых теперь не осталось ничего реального, но о котором, как всегда о молодости, вспоминается хорошо».

Защита, принимавшая активное участие в событиях октября 1905 года, входила, в лице большинства своих представителей, именно в эти слои общества, и не подлежит сомнению, что, даже и вне судебного разбирательства, сочувствия и симпатии защиты были на стороне Совета.

Понятно поэтому, что, если меня спросят, была ли защита объективна, выясняя общественно-политическую сторону процесса, я искренно отвечу: нет.

В судебной разработке дела, в содействии его судебному освещению защита и не могла быть объективной. Сторона в процессе, она и освещала дело именно с одной стороны. Это было не только право защиты — это была ее обязанность.

Однако, если бы мне пришлось кратко ответить на вопрос и по этому поводу, если бы меня спросили, не как обвинителя, а как человека, соответствовали ли юридические выводы защиты фактическим обстоятельствам дела, я столь же искренно тоже отвечу: нет.

Прежде всего защита вместе с подсудимыми стремилась установить, что Совет был выполните-

лем воли масс, что ответственность Совета и этих масс неделима. В этом отношении защита исчерпала все. И показания свидетелей рабочих, и резолюции заводов и фабрик, и описание заседаний и порядка голосований в Совете — все это подчеркивалось защитой в явном стремлении доказать, что воля подсудимых не была свободна, что они лишь проводили в жизнь веления пролетариата.

Вторым доводом, выдвигавшимся защитой для опровержения выводов обвинения, было указание на отношение к Совету исполнительной власти. На этой почве, в сущности, и возник первый коренной конфликт между судебной палатой и защитой.

Деятельность Совета протекала открыто; власть входила в сношения с Советом; власти были известны все распоряжения Совета, — так, в полном согласии с обстоятельствами дела, утверждала защита.

Это верно, но это не делало наказуемого ненаказуемым, о чем я довольно подробно говорил в своей речи. Мне хочется думать, что юридического спора по этому поводу не стала бы поднимать во время нормальных прений и защита, если бы она не сочла нужным говорить о мере ответственности.

Я вполне понимаю, что политически этот вопрос представлялся чрезвычайно важным. Я понимаю, что политическая защита домогалась вызвать в качестве свидетелей гр. Витте, Трепова, Бир-

лева, Редигера, градоначальника Дедюлина и прочих, но я думаю, что судебная защита должна была признать объективно правильным отказ в этом вызове со стороны палаты. Вызов этих свидетелей имел бы значение, если бы был какой-нибудь спор об осведомленности власти по поводу деятельности Совета, но ведь этого не было и быть не могло. Весь обвинительный акт говорил об открытой деятельности Совета, и свидетельские показания по этому поводу доказали бы только желание ломиться в открытые двери.

Однако, вызов представителей государственной власти был общественно важен, и подсудимые должны были этого желать.

Они достигли бы своей цели блестяще, ибо их цель была допросом графа Витте и других дискредитировать их в общественном мнении. Эта задача была чрезвычайно легка.

Трудно себе представить более яркую правительственную неразбериху, чем одновременная дряблость премьера Витте и умопомрачительная, прямолинейная решимость Трепова и Дедюлина.

«Братцы-рабочие, пожалейте ваших жен и детей», сентиментально взывает премьер Витте... «Патронов не жалеть», отвечает ему на это диктатор Трепов.

Рабочие собираются торжественно хоронить убитых, и граф Витте поучает рабочих: «Нужно, чтобы все обошлось по-хорошему, чтобы на похоронах все прошло по-человечески». А Трепов разъяс-

няет: «Генерал-губернатор приглашает устроителей манифестации отказаться от своего замысла... в виду решительных мер, к которым может быть вынуждена прибегнуть полицейская власть».

Это управление столицей по евангельскому способу, когда правая рука не знала, что делала левая, служило, конечно, весьма благодарной темой для полного дискредитирования власти.

Не даром же один опальный и очень умный сановник, прослушавший из любопытства почти весь процесс, сказал мне как-то:

— Вы пропустили одного обвиняемого в списке. Его тень все время витает в зале суда.

На мой вопрос, кто же этот обвиняемый, сановник ответил мне:

— Как кто? Конечно, граф Сергей Юльевич Вите: это же типичный попуститель!

Подсудимые хотели дискредитировать власть, и в этом отношении они совершенно последовательно шли и дальше. Они хотели подорвать всякое доверие и к расследованию и к суду над ними.

По этому пути за подсудимыми пошла и защита.

Когда совместными усилиями подсудимых и защиты вскрывалось все несуразное и неправильное в области дознания, то судебная правда была, конечно, на стороне защиты. Это было обязанностью защиты. Она тем самым говорила суду: «Не верьте ничему, кроме признаний подсудимых и документов, которые вы сами видели. Все остальное отбросьте, как недоказанное». Защита явно до-

стигла своей цели, и выводы палаты, несомненно, не были основаны на данных жандармского дознания.

Однако защита пошла и дальше за подсудимыми.

Она хотела подчеркнуть, что суд, его данный состав, действует незакономерно. Поэтому отказ в вызове свидетелей — гр. Витте и других — и был возведен Н. Д. Соколовым в «нарушение процессуальных гарантий защиты». Поэтому М. С. Маргулиес говорил в печати о «заранее отмежеванных судебной палатой пределах расследования».

Положение защиты становилось тактически трудным. Подсудимые участвовали в суде из побуждений политических. Защита думала, что и суд будет орудием политической борьбы, обращенным против подсудимых, а потому ей будет легко, использовав залу суда как политическую арену и аудиторию, прервать свое участие в процессе и сказать, что власть, преследовавшая подсудимых, обратила и суд в орудие той же политической борьбы. Это не удавалось защите. Следствие подходило к концу, а серьезных поводов для разрыва не было. Эти поводы приходилось создать, и единственным *casus belli* между судом и подсудимыми можно было избрать только отказ суда в вызове свидетелей — представителей власти. Этим отказом защита должна была логически воспользоваться и придать ему форму угнетения ее интересов.

Вот почему уже в конце дела наступил совершенно неожиданный момент в процессе.

12 октября, уже после допроса всех свидетелей и во время скучного чтения документов, когда механизм суда дал подсудимым все, что им политически было нужно, присяжный поверенный О. О. Грузенберг сделал от имени защиты новое заявление.

Он заявил, что в его руках находится письмо бывшего директора департамента полиции Лопухина на имя П. А. Столыпина, в котором Лопухин указывает, что черносотенные погромы создавались департаментом полиции, и что там же фабриковались заведомо-ложные прокламации о растратах, будто бы учиненных рабочими депутатами. Защитник просил огласить это письмо, а затем дополнил свое ходатайство просьбой о вызове Лопухина в качестве свидетеля.

Н. С. Крашенинников объявил краткий перерыв и потом объяснил мне, что он это сделал, полагая, что мне нужно время, чтобы вдуматься в ходатайство защиты и дать заключение. Я в этом перерыве не нуждался.

Для меня было ясно, что это политический ход, и я бы сразу и без всякого перерыва высказался за отказ в ходатайстве защиты. Так я и поступил. Кратко мотивируя свое мнение отсутствием значения письма Лопухина для участия подсудимых, я полагал письма этого к делу не приобщать, а следовательно, отказать и в вызове Лопухина в качестве свидетеля.

Ответ палаты последовал лишь на следующий день.

В своем подробно мотивированном определении палата говорила, что самые широкие права защиты и подсудимых имеют один предел. Этот предел требует, чтобы представляемые доказательства разъясняли или опровергали виновность подсудимых. Разоблачения Лопухина, как признавала палата, несомненно имеют большое общественное значение, но для суда они значения иметь не могут, ибо не могут повести к выяснению виновности или невинности подсудимых.

Приобщение письма и вызов Лопухина, поясняла далее палата, были бы со стороны суда актом, которым суд вышел бы из границ, сводящихся к определению доказанности или недоказанности вины подсудимых.

Итак, защита не достигла желанных результатов: суд упорно замкнулся в формальных рамках процесса.

Отказ палаты открывал перед подсудимыми формальную возможность разрыва сношений с ненужным уже к этому моменту для них судом, чего они, в сущности, и домогались. Это до известной степени пояснил даже присяжный поверенный Н. Д. Соколов, который после оглашения определения палаты заявил, что отказ палаты разрушает существенную часть плана защиты, выработанного ею на совместном совещании с подсудимыми. Поэтому защита просит палату объявить перерыв для обсуждения возможности дальнейшего ведения дела.

Перерыв был объявлен и длился более суток.

14 октября заседание возобновилось. Настроение залы было чрезвычайно повышенное. Газеты огласили в городе о происшедшем между палатой и защитой столкновении, и жажда узнать, как это столкновение разрешится, привела в судебное заседание массу публики. Места за судьями были полны представителями судебного ведомства и сената.

Заседание возобновилось около полудня.

Защита явно волновалась предстоящими минутами. Не мог скрыть своего волнения и О. О. Грузенберг, который должен был говорить от имени защиты. Я никогда не видел его таким бледным. Волновались и подсудимые, и это приподнятое настроение передавалось в публику и создавало в зале мучительно напряженное и тяжелое настроение.

— Возобновляю заседание, — произнес своим властным тоном Н. С. Крашенинников. — Слово принадлежит защите.

В зале царила мертвая тишина.

Поднялся О. О. Грузенберг и от имени всей защиты сделал мотивированное заявление, которому от себя предпослал несколько слов:

— Господа судьи, — говорил Грузенберг, — подсудимые пришли сюда только для того, чтобы выяснить правду дела о Совете Рабочих Депутатов. Всю правду, ничего кроме нее... Широко как будто и как будто свободно разворачивается вот уже в те-

чение месяца судебное следствие. Но не с первого ли дня мы встречаем отказ в том, что является содержанием дела. Мы просили о вызове графа Витте, Дурново, военного и морского министров, всех тех, при которых протекала деятельность Совета, всех тех, кто разрешал его заседания и легализировал его деятельность...

Обвинение не хочет понять, что на смену отжившей власти явился Совет так же естественно, как на смену опавшим листьям является весной молодая зеленая листва... Раскрытие деятельности департамента полиции, охватившего, как доказывает в своем письме Лопухин, всю Россию железным кольцом преступлений, вы отвергли, сказав, что это общественно важно, но для суда не интересно. Но ведь это значит убить душу процесса, свести его к ряду мелких фактов, по признакам статей Уголовного Уложения...

Для вас невозможно расширить пределы судебного исследования до того размера, который подсказывается запросами правды. Для нас, защитников, невозможно работать без нее. С согласия подсудимых мы уходим.

После этой речи О. О. Грузенберг огласил письменное заявление защиты, которое в своих мотивах вновь ссылалось на стеснение пределов исследования, выразившееся в отказе вызвать свидетелей и приобщить письмо Лопухина.

Защита утверждала, что судебная палата обнаружила стремление лишить дело того глубокого

общественного значения, которое ему принадлежит, вследствие чего деятельность Совета, как одного из крупнейших этапов народного освободительного движения, в рамках нынешнего судебного разбирательства не получит освещения, требуемого общественными интересами.

Эти мотивы побудили защиту прекратить свое участие в процессе...

Итак, уход защиты был вызван именно спором о пределах исследования. Для меня этот спор решался без колебаний, и я понимал, что уход защиты есть лишь логический вывод из всего предьидущего.

П о л и т и ч е с к а я роль защиты кончена. Все данные дела освещены перед гласным судом. В с у д е б н о й защите подсудимые не нуждались, они ее отвергли. При таких условиях защита считала себя исполнившей свою задачу.

Защита ушла. В зале водворилось тягостное молчание. Я лично испытывал тяжелое ощущение как бы от нанесенного мне лично незаслуженного оскорбления...

Оказалось, что самые тяжелые минуты еще впереди.

После ухода защиты поднялся Хрусталеv и в очень сдержанных выражениях просил палату разрешить подсудимым «удалиться в дом предварительного заключения». За Хрусталевым ту же просьбу позволить уйти из суда повторил кто-то из подсудимых, не содержащихся под стражей.

Затем поднялся Троцкий и в несвойственных ему мягких тонах повторил то же самое, закончив словами:

— Я прошу суд не учинять над нами насилия и не заставлять нас против нашей воли присутствовать на суде.

При напряженном внимании публики Н. С. Крашенинников обратился ко мне со словами:

— Господин прокурор, ваше заключение.

Какая бесконечная вереница мыслей пронеслась в эти минуты в моем мозгу! Я понимал, что уход подсудимых — это, в сущности, нарушение процессуального закона, но в то же время все существо мое протестовало против их насильственного удержания в зале. Ведь присутствие их по закону установлено в их же интересах. Если их не отпустить, то к чему это поведет? Поведет к физическому протесту, к скандалу, к безобразию. Неужели же суд приобретет право удалить подсудимых только тогда, когда они начнут бить пюпитры и ломать скамьи?!

Это казалось мне почти безумным.

Я развил в заключении своем волновавшие меня мысли и решительно высказался за удаление подсудимых.

Палата удалилась на совещание. Оно длилось недолго, и затем палата объявила определение о заключении под стражу подсудимых, находившихся на свободе, и об удалении всех подсудимых в дом предварительного заключения.

Все сразу зашумело и задвигалось в зале. Подсудимые уходили через маленькую дверь за скамьей подсудимых; жандармы окружили тех, которые до этого момента были на свободе, и одновременно с подсудимыми ушла и публика, как бы подчеркивая, что ее интерес к процессу исчерпан.

8. Без подсудимых и защиты.

Зал опустел. Старший председатель объявил:

— Заседание продолжается; г. секретарь, огласите дальнейшее содержание письменных вещественных доказательств.

Как будто ничего не произошло. В пустом зале гулко раздавалось монотонное чтение секретаря. Члены палаты, явно утратив интерес к происходящему, несомненно, скучали, понимая бесполезность этого чтения. Судебный пристав Ермолаев безмятежно дремал на своем кресле, и даже курьеры постепенно на цыпочках выходили из зала.

Все это производило впечатление погребального чтения над покойником.

Я чувствовал себя чрезвычайно угнетенно. Сознание, что невозможно бороться с противником, который не хочет защищаться, было настолько сильно, что я с нетерпением ждал конца заседания, чтобы решить, как мне поступить дальше.

Неумолимый Н. С. Крашенинников упрямо довел заседание до положенного часа и лишь тогда,

прервав чтение секретаря, объявил, что прерывает заседание до следующего дня.

Моим первым побуждением было поехать к Камышанскому, сказать ему, что при создавшихся условиях я не могу обвинять, и просить освободить меня от участия в процессе. Однако совесть и сознание долга подсказывали мне, что это решение неправильно, что ненормальное положение процесса создалось согласно воле подсудимых и защиты, что существо моих обязанностей от этого не изменилось, а должна измениться лишь форма их выполнения.

Я решил выбросить из обвинительной речи все сомнительное и спорное, превратить речь скорее в форму резюме, чем в форму обвинения, и остаться, как я решил уже давно, в строго судебных рамках дела. Разумеется, я остался и при своем намерении отказаться от обвинения в приготовлении вооруженного восстания.

На следующий день с утра продолжалось чтение вещественных доказательств, затем был объявлен перерыв, и возобновление заседания для выслушивания моей речи было назначено в шесть часов вечера.

О, как я помню этот ярко освещенный зал и мельчайшие детали обстановки!

Пустые скамьи подсудимых... пустые скамьи защиты... в местах для публики тоже пусто, и только присяжный поверенный С. П. Елисеев, не победив

своего любопытства, приютился в уголке, да недалеко от него одинокая, печальная жена подсудимого Авксентьева.

В то же время места для печати заняты все до одного. Перед судейским столом появился столик, за которым сидят приглашенные защитой четыре стенографистки. В креслах за судьями тоже нет ни одного свободного места. Сенаторы (и среди них знаменитый криминалист, престарелый Н. С. Таганцев), чины судебного ведомства, некоторые высшие чины администрации, чиновники министерства юстиции, бывший личный секретарь графа Витте и мои товарищи по надзору — все это собралось слушать «судебные прения», а многочисленная судейская молодежь заполнила проходы между боковыми барьерами.

Я слышу биение своего сердца, чувствую, что холодеют от волнения руки, мысль словно совсем не работает, и мозг как-то механически воспринимает внешние впечатления. Наконец, я не выдерживаю и прошу Н. С. Крашенинникова скорее начинать заседание.

Палата выходит в зал.

Все стихает.

Я слышу мерный, спокойный голос Крашенинникова:

— Заседание возобновляется. Объявляю судебное следствие оконченным. Слово принадлежит прокурору.

Я поднимаюсь и, стараясь усилием воли успокоить волнение, начинаю свою первую «политическую» обвинительную речь.

Когда я кончил, палата объявила перерыв, и все с шумом удалились в совещательную комнату.

Первым ко мне подошел экспансивный П. К. Камышанский и, сказав несколько любезных фраз, добавил:

— Жаль, что ты меня не предупредил об отказе от обвинения по 101 статье, и, кроме того, я боюсь, что «лирика» в конце твоей речи может дать для тебя самого нежелательные наслоения. Лучше было бы не пускать этой «лирики».

Сановники и чиновники своих мнений не высказывают, или ограничиваются любезно-бесцветными фразами. Так и чувствуется в этих нерешительных отzyвах сомнение: «а что-то еще из всего этого выйдет?»...

Но в эту минуту мне решительно все равно, что из этого выйдет. Я испытываю совершенно искреннее ощущение спокойной совести и свалившейся с души громадной тяжести. Уходя из суда, я хочу только отдыха, хочу хоть на время совсем забыть о процессе.

На следующий день, 19 октября, при совершенно пустом зале были оглашены вопросы. Палата совещалась в течение трех часов, и к пяти часам вечера был вынесен приговор.

Хрусталеv, Троцкий, Сверчков, Злыднев, Зборовский, Кнунианц, Авксентьев, Немцов, Киселевич,

Фейт, Вайнштейн, Голынский, Комар, Шанявский и Симановский были признаны виновными по 102 статье Уг. Ул. и приговорены к ссылке на поселение.

Стогов и Шевченко приговорены к заключению в крепости по 129 ст. Уложения.

Коссовский, Мосалев, Бабин, Полетаев, Расторгуев, Сильвестров, Бобров, Петров, Красин, Луканин, Филиппов и Клейц — оправданы.

Обвинение всех подсудимых в приготовлении вооруженного восстания признано недоказанным, и по этому обвинению все подсудимые оправданы.

Провозглашение приговора происходило также при совершенно пустом зале; только официальные представители власти да газетные сотрудники по обязанности присутствовали при чтении резолюции.

Публика отсутствовала; не пришли даже родные подсудимых. Общественное мнение как бы демонстративно говорило суду:

— Ваш приговор нам не интересен...

9. После процесса.

Приговор был вынесен около шести часов вечера, а на следующее утро я уже был на Балтийском вокзале и торопился уехать к родным в деревню, в довольно глухой угол Ямбургского уезда. Двухнедельный отпуск я себе выговорил еще раньше, и теперь жаждал только одного: забыть хоть на время о процессе, уйти от политических вопросов, за-

быться и отдохнуть не столько физически, сколько отдохнуть душой после той сложной и мучительной работы, которую пришлось вынести за время процесса.

Пусть судит читатель, насколько этот желанный отдых мне удался. Приехал я на вокзал рано и, как только подали поезд, я вошел в совершенно пустой вагон и испытывал наслаждение одиночества. Под окном стояли кондуктора и о чем-то разговаривали; обрывки их разговоров доносились до меня.

— Наших депутатов не больно строго осудили, — говорил один голос, — без каторги, слава богу, обошлось. А в газетах писали, что им каторги не миновать.

— Да, без каторги прошло, — согласился другой голос. — Прокурор Бальц совсем мало обвинял...

Ощущение покоя немедленно отлетело от меня. Я подошел к окну и хотел прислушаться к дальнейшему разговору, но говорившие отошли от вагона, и, кроме этого отрывка, мне ничего услышать не пришлось. И опять дело Совета вторглось в сознание, и мысль против воли была опять прикована к впечатлениям последнего месяца. Всю дорогу я старался отвлечь себя от этих воспоминаний, а они не уходили и неотступно меня преследовали... Наконец, вот и станция Веймарн...

В усадьбе меня встретили старики родные, и им очень хотелось сейчас же, во всех подробностях, услышать от меня рассказ о процессе, о моих впечатлениях, мою характеристику главных действующих

щих лиц. Я умолил их не говорить об этом... Потом, завтра, когда угодно, но не сейчас, не тогда, когда всеми силами хочется уйти не только от воспоминаний, но вообще от самого себя.

С каким наслаждением я проснулся на следующий день ранним утром и почувствовал себя в милой, родной деревне. Город казался где-то бесконечно далеко, и хотелось только одного: чтобы это чудное ощущение покоя как можно дольше не нарушалось.

Я ушел в сад, в поле, к далекому лесу. И в эти минуты с необыкновенной отчетливостью в мой мозг проникало сознание тщеты и мелочности человеческой борьбы, человеческих страстей. Это сознание поразительной ничтожности бытия перед величием и горделивым спокойствием природы охватывало меня всякий раз, когда от шумной городской жизни я уходил в тихую, спокойную деревню...

Был чудный осенний день. Вековые деревья сада, почти обнаженные от листьев, словно дремали уже перед глубоким зимним сном. Сухие листья по аллеям, тронутые утренними заморозками, хрустели под ногами. Сквозь опавшую листву видна была бесконечная даль полей, и печальное, холодное солнце, словно прощаясь, грустно и мягко освещало и старый сад, и поле, и погруженную в осеннюю тишину маленькую, бедную деревню...

Время близилось к полудню; обойдя свои любимые места, я возвращался к дому и, уже подходя

к крыльцу, заметил поднимавшуюся в гору тележку, в которой сидел нето телеграфист, нето кондуктор, словом, какой-то железнодорожный служащий.

«Нарочный», подумал я, и какое-то неприятное предчувствие как будто кольнуло в сердце. Приехавший слез с тележки и пошел ко мне навстречу со словами: «Телеграмма прокурору Бальцу из Петербурга». Я взял от него конверт, торопливо разорвал телеграфную бандероль и взглянул на короткий текст телеграммы. Там было всего пять слов и подпись.

«Тебя увольняют в отставку. Приезжай». Так телеграфировал мне один из близких мне людей.

Прощай, спокойствие деревни, прощай, отдых и желанное одиночество! Все это исчезло мгновенно. Злобное ощущение несправедливости, гнев и раздражение целиком меня захватили, и я, не колеблясь, решил ехать в Петербург и бороться с нависшей без причины неприятностью самым энергичным образом.

Наскоро пообедав, я покинул усадьбу и поехал вновь по той же самой дороге, по которой ехал вчера. Но если вчера я радовался окружающему, если каждая верста, приближавшая меня к дому, все повышала и повышала мое настроение, то сегодня те же знакомые места производили на меня впечатление чего-то мрачного, унылого и печального. К тому же и солнце спряталось, пошел мелкий осенний дождь, стало сыро и холодно...

Около восьми часов вечера поезд подошел к Гатчине, и я поспешил на перрон, чтобы купить газеты, но нашел только вечернюю газету «Сегодня». Мне сразу бросился в глаза крупный аншлаг на первой странице, кратко сообщавший содержание номера. В этом аншлаге; между какими-то сенсационными новостями, я прочел слова: «К отставке товарища прокурора Бальца». В самом тексте газеты я не нашел ни слова о своей отставке и пребывал в неведении до Красного Села, где буфетчик дал мне номер вечерних «Биржевых Ведомостей». Там я прочел посвященную мне шутиливую заметку «Скитальца», которая сообщала буквально следующее:

«Окончился процесс-монстр. И так жаль, так жаль... господина Бальца. Мог удружить патриотам своего отечества, счастье было так близко, так возможно, а он... «по сто первой отказываюсь совсем, а что касается отношения к рабочим депутатам исполнительной власти»... и пошел, и пошел — совсем как в известном анекдоте.

«На месте доктора Дубровина и Булацеля я бы немедленно подал заявление в участок, что, несомненно, подлинный Бальц в последний день был экспроприирован анархистами, а, вместо него, на суде говорил Марат, Рамишвили, Равашоль, Муромцев — кто-нибудь из этих ужасных людей.

«Я уверен, что г. Бальц был подлинный, и с меланхолией думаю, что никогда ему не быть прокурором, и дальше товарища он не пойдет.

«Может быть, судейское сословие и совсем его потеряет!

«После нескольких политических процессов, разбивавшихся в последнее время в военных судах, 3—4 защитника офицера внезапно оставили службу и связанную с ней сладостную перспективу стать когда-нибудь генералами Павловыми и вступили в присяжную адвокатуру.

«Присяжный поверенный Бальц!..

«И подумать только, что стоило ему сказать: «Требую для Хрусталева и других повешения». И все было бы хорошо.

«Мог бы даже и до Акимова дослужиться. Вспоминаете? Был такой министр юстиции или, — как писали в газете «Русь», — пол-юстиций».

Прочитав эту милую газетную заметочку, я продолжал свой путь в едва ли веселом настроении духа. Я ведь знал, что Бальц не был «экспроприирован анархистами», и понимал, что решается вся моя дальнейшая судьба.

Показались огни Петербурга, мимо вагонного окна побежали вокзальные фонари, и, наконец, я приехал.

Было около десяти часов вечера; отвратительный, неповоротливый извозчик бесконечно тащил меня от Балтийского вокзала на Фурштадтскую. Мои родные, конечно, уже знали из газет и из разговоров об отрицательном впечатлении, произведенном «в сферах» моей деятельностью, и с нетерпением меня ждали. Я немедленно позвонил к

Камышанскому, но не узнал от него ни два, ни полтора.

— Твоей речью, действительно, недовольны в министерстве, — сказал мне Камышанский, — там не делают пока никаких определенных выводов, но я был прав, говоря, что ты напрасно вдавался в «лирику» в конце твоей речи. Эта лирика дает уже «наслоения». Во всяком случае, достань стенограмму твоей речи и передай мне. Я представлю Щегловитову.

Благодаря любезности одного из защитников (кажется, М. Л. Гольдштейна), мне через несколько дней удалось достать от помощника присяжного поверенного Селюка напечатанную на машинке расшифрованную стенограмму моей речи, и я свез ее к Камышанскому.

Потянулись неприятные, неопределенные дни...

Приятели сообщили мне, что на моей речи Щегловитовым положена резолюция: «Прошу А. А. Глищинского ознакомиться и переговорить». Пока Глищинский знакомился, я под впечатлением от разных бесед приходил постепенно к убеждению, что «Скиталец», повидимому, прав, и что мне придется расстаться с ведомством. Для таких выводов служил показателем барометр отношений ко мне некоторых моих сослуживцев. Чиновничий Петербург остался и в этом эпизоде Петербургом.

Кроме самых близких мне людей, с которыми меня связывали не только товарищеские, но и

дружеские отношения, большинство остальных явно ко мне изменилось.

Одни, притворно возмущаясь, говорили мне, что все их симпатии на моей стороне, другие облекали свое злорадство в сентиментально-ласковую манеру обращения, а у третьих совершенно прозрачно светился злобный огонек, и они, видимо, иронически вопрошали меня мысленно: «Что, брат, опростоволохился?»

Только один (оказавшийся впоследствии моим подчиненным) нашел в себе гражданское мужество прямо сказать мне: «Ты знаешь, в министерстве говорят, что твое выступление — это не обвинительная речь, а 129 статья. Не понимаю, зачем тебе понадобилось «позировать на беспристрастие»; надо думать, что кончится это не сладко, но пеняй на себя».

Так отнесся ко мне Петербург. Совершенно иначе отнеслась провинция, где я провел больше половины своей службы. Я получил довольно много сочувственных писем, при чем сочувствие выражалось не по поводу служебных неприятностей, о которых в провинции не знали, а по поводу положения, которое я занял в процессе. Особенно дорого мне было письмо, присланное мне председателем одного из судов Московского округа. В письме этом говорилось, что ведение мною процесса в значительной мере оградило в таком трудном деле достоинство судебной власти, и заканчивалось письмо словами: «Если в результате ты,

вместо благодарности, получишь одни неприятности, и, быть может, большие, не огорчайся и не удивляйся. Друг мой, это в порядке вещей, и иначе это почти и быть не может».

Мое беспокойство и раздражение особенно поддерживались теми выводами, которые из моей речи сделала печать. Позиция печати по отношению к процессу после приговора резко изменилась.

Ругалась правая пресса, а либеральная печать, не высказывая прямо своего мнения о приговоре, явно одобряла характер и содержание моего выступления, как обвинителя.

Черносотенный «Голос Правды» писал: «Трудно представить себе более бездарно и бюрократически поставленное обвинение, достойно увенчанное «корректной» речью товарища прокурора Бальца. Бедный г. Бальц, попавший в неприятное положение обвинять «бывшее правительство», очень угодил своей речью «лучшей части печати», а следовательно, с честью вышел из положения. И это вовсе не из симпатии к крамоле. Г. Бальц—это просто умеренный и аккуратный бюрократ, в простоте души своей принявший за чистую монету разыгравшуюся на суде срепетованную комедию и ничего не понимающий в действительной жизни. Вот такие-то корректные господа, не менее настоящих хищников в мундирах, довели Россию до настоящего положения, они-то и дискредитируют власть».

На ряду с этим отзывом — о моей речи лестно отозвался в «Вестнике Европы» К. К. Арсеньев; подчеркнула беспристрастие речи газета «Столичная Почта»; «Товарищ» уверял, будто я так разочаровался в нашей «независимой юстиции», что сам подал в отставку, а вечерняя газета «Сегодня» посвятила моему выступлению передовую статью, в которой называла мою речь «выдающейся» и также выражала сомнение в том, что мое выступление в процессе «пройдет мне даром».

Не удивительно, что, читая газеты, я не мог не понимать, что министр юстиции может стать на сторону «Голоса Правды» и, признав меня «корректным господином, который дискредитирует власть», предложит мне навсегда прекратить это занятие.

К этим поводам для неудовольствия прибавился еще один эпизод, который, по словам Камышанского, усилил нараставшее против меня раздражение.

Эпизод этот заключался в следующем:

Недели через две после процесса ко мне позвонили по телефону, и у аппарата оказался бывший премьер граф С. Ю. Витте, которого я до тех пор никогда в жизни не видел.

Витте сказал мне по телефону, что он отсутствовал из Петербурга и теперь, вернувшись, прочитал отчеты по делу Совета Рабочих Депутатов и очень хотел бы со мною по этому поводу побеседовать.

На следующий день, в назначенное мне время, я

приехал в особняк графа Витте на Каменноостровском проспекте.

Бывший премьер встретил меня очень любезно, но содержание его разговора со мной свидетельствовало о явном неудовольствии всем ходом процесса.

— Из отчетов по делу, — говорил мне граф Витте, — можно думать, что я был в курсе всей деятельности Совета, входил с ним в сношения и чуть ли не собирався легализовать его положение. Все это неверно, и так как подобные указания я усмотрел и в обвинительном акте и в вашей речи, то я хотел бы, чтобы вы прочитали письмо, заготовленное мною для опубликования в газетах.

Затем С. Ю. Витте дал мне прочесть письмо, смысл которого сводился к тому, что после манифеста 17 октября к нему приходили представители рабочих, заявляли ходатайства, из которых одни он удовлетворял, в других отказывал, но политической деятельности Совета Рабочих Депутатов как такового не знал.

Сейчас у меня нет под руками этого письма, но я помню, что содержание его произвело на меня чрезвычайно странное впечатление. Было явно неправдоподобно и почти наивно утверждать, что граф Витте не знал того, что было известно чуть не каждому грамотному человеку в Петербурге.

На вопрос графа Витте, какого я мнения об этом письме, я ему ответил, что сомневаюсь, чтобы приводимые в письме доводы могли опровергнуть те

факты, которые были установлены судебным следствием.

На этом мы расстались.

Через несколько дней письмо графа Витте все-таки появилось в одной из газет (кажется, в «Новом Времени»).

На это письмо осужденные по делу Совета, в свою очередь, ответили в газете «Товарищ» — и ответили подробно.

Они сдержанно, но твердо заявляли, что «граф Витте говорит неправду». Затем приводились все данные судебного следствия, доказывавшие сношения Витте с представителями Совета и осведомленность главы исполнительной власти о существовании деятельности Совета.

В этом письме, которое, кажется, было подписано всеми осужденными, сделаны были две ссылки на меня.

Осужденные говорили о том, что я — «профессиональный обвинитель» — признал их объяснения на суде правдивыми и искренними. Кроме того, они указывали и на то, что слухи о совершившихся будто бы в Совете растратах я назвал в своей речи «клеветой».

Вот эти-то две злополучные ссылки и усугубили против меня неудовольствие. По крайней мере, П. К. Камышанский сообщил мне, что Щегловитов видит в самой возможности подобных ссылок неправильность моей позиции на суде. Ссылки на меня в доказательство правильности отдельных

эпизодов, сделанные осужденными, доказывают, что я будто бы не оградил достоинства государственной власти.

Совершенно естественно, что при создавшемся положении я не мог ожидать для себя чего-нибудь доброго. Однако мои опасения оказались напрасными.

Когда, наконец, А. А. Глищинский «ознакомился» и, очевидно, «переговорил» по поводу моего выступления, то П. К. Камышанский известил меня сначала по телефону, а затем и лично, что, в конце-концов, неудовольствие против меня «не выльется в каких-либо конкретных формах», и, следовательно, я... могу успокоиться.

Не могу не сказать, что я ждал не успокоения; мне хотелось другого, хотелось, чтобы мои действия были признаны правильными и соответствующими достоинству государственной власти.

Такого признания я не дождался, и воспоминания обо всем пережитом оставили во мне очень надолго горький осадок неудовлетворенности, ощущение какой-то недоконченности мною сделанного и печальное разочарование в возможности чисто судебной, а не политической борьбы с государственными преступлениями.

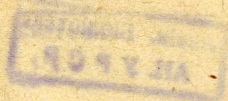
Постепенно впечатления процесса утратили свою остроту, и этот период моей жизни ушел далеко в историю, но теперь, когда свершилась русская революция и Советы вновь возродились к жизни, все

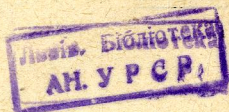
минувшее с необычайной яркостью вновь ожило передо мной.

Мне думается, что впечатления каждого из участников этого исторического судебного процесса не могут не представлять известного интереса для общества, и это побудило меня поделиться и своими воспоминаниями о нем.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	<i>Стр.</i>
По поводу «Воспоминаний прокурора».—Вступительная статья Дм. Сверчкова	3
1. Перед процессом	23
2. Составление обвинительного акта	29
3. Первое слушание дела	38
4. Вторичное слушание дела	47
5. Подсудимые	57
6. Свидетели	70
7. Защита	84
8. Без подсудимых и защиты	97
19. После процесса	10







Цена 50 коп.

3,42
(1986)

Р
Л 1555 У



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

- 1) Правлению Издательства Политкаторжан—Москва, ГСП,—10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.
- 2) Магазины Издательства Политкаторжан „МАЯК“—Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.



ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛИОТЕКА

В. А. БАЛЫЦ

**СУД
НАД ПЕРВЫМ СОВЕТОМ
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ**

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН МОСКВ

